

лекции **PRO**

ИСТОРИЯ ИДЕЙ



А. А. Тесля

«ИСТИННО РУССКИЕ ЛЮДИ»

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА

лекции **PRO**

И С Т О Р И Я И Д Е Й

А. А. Тесля

«ИСТИННО РУССКИЕ ЛЮДИ»

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА



Группа Компаний РИПОЛ классик

П А Н Г Л О С С

Москва
2 0 1 9

УДК 122/129
ББК 87.3(2)6
Т36

*Рецензенты: гл. ред. журнала «Полития», профессор НИУ ВШЭ,
д. п. н. С. И. Каспэ; доц. НИУ ВШЭ, в. н. с. ЦФС НИУ ВШЭ,
кандидат юридических наук А. В. Марей.*

*Данное исследование было выполнено
в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442)
«Механизмы смыслообразования и текстуализации
в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках»
в Балтийском федеральном университете им. И. Канта
и поддержано из средств субсидии, выделенной
на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ
им. И. Канта в рамках Проекта 5-100.*

Тесля А. А.

Т36 «Истинно русские люди»: История русского национализма / А. А. Тесля. — М. : Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Панглосс», 2019. — 320 с. — (Серия «ЛекцииPRO»).

ISBN 978-5-386-12351-2

Тема национализма была и остается одной из самых острых, сложных, противоречивых и двусмысленных в последние два столетия европейской истории. Вокруг нее не утихают споры, она то и дело становится причиной кровопролитных конфликтов и более, чем какая-либо иная, сопровождается искаженными интерпретациями идей, упрощениями и отжившими идеологемами – прежде всего потому, что оказывается неотделимой от вопросов власти и политики.

Для того, чтобы сохранять ясность сознания и трезвый взгляд на этот вопрос, необходимо «не плакать, не смеяться, но понимать» — к чему и стремится ведущий историк русской общественной мысли Андрей Тесля в своем курсе лекций по интеллектуальной истории русского национализма. Лектор в увлекательном повествовании беспристрастно анализирует истоки национализма в России, его разновидности, бурную историю развития и столкновения идей.

УДК 122/129
ББК 87.3(2)6

© Тесля А. А., 2019
© Оформление.
ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2019

ISBN 978-5-386-12351-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эрнст Геллнер в своей классической работе о национализме отметил, что не имеет смысла останавливаться на идеологии национальных движений, поскольку с интеллектуальной точки зрения они не представляют особенного интереса — это во многом справедливо, поскольку речь идет о прагматических высказываниях и идеологических комплексах, следовательно, их интерес не в них самих (или таковой может заключаться лишь случайным образом, не будучи необходимым содержанием), а в том действии, которое они способны производить, — т. е. способны ли они вдохновлять интеллектуалов, мобилизовать массы, могут ли они предложить яркие формулировки и запоминающиеся образы, насколько они устойчивы перед внешними вызовами, насколько способны меняться в соответствии с меняющейся ситуацией и апроприировать новую повестку.

Обсуждать конкретные националистические идеологии построения как самостоятельные интеллектуальные построения, действительно, имеет мало смысла — об этом, на мой взгляд, и говорил Геллнер: в отличие от философских концепций, они обладают смыслом исключительно в своем месте и своем времени — к ним не

применимы характеристики истинности или ложности, подобно тому, как бессмысленно спрашивать об истинности или ложности суждения «поди сварь кофе». Речь идет о том, работают ли эти построения, производят ли эти идейные комплексы эффект — и насколько он соответствует тому, который задумывался.

И тем не менее — вопреки ранее сказанному — интеллектуальная история национализма имеет свой смысл, причем весьма разнообразный. Первый аспект самоочевиден — эта история является составной частью истории общественной мысли конкретной эпохи, без знания ее остается не вполне понятной, например, история культуры — так, вне националистического контекста как само образование «могучей кучки», так и история создания и восприятия «Хованщины» или «Князя Игора» остаются по меньшей мере неполными. Если сами националистические построения и не имеют особенного интеллектуального интереса, то их конкретные воплощения таковой безусловно представляют — националистическое значение может быть и способом легитимации для конкретных интеллектуальных проектов и культурных практик, и, напротив, явиться орудием критики, аргументом, направленным против них, — как споры о художественном значении и культурном масштабе творчества Тараса Шевченко, ведшиеся во второй половине XIX в. и звучащие сейчас, чаще всего имеют слабое отношение к поэзии как таковой.

Второй аспект заключается в том, что всякая идеологическая конструкция имеет свои границы — во-первых, это границы «видимого», того, что фиксируется и что позволяет она фиксировать, какие различия производит и, напротив, что выступает в качестве неразличимого. Иными словами, идеология — это язык описания реальности и в качестве таковой она влияет не

только на всех участников идеологического взаимодействия: идеолог сам оказывается подвластен своей идеологии.

Из этого следует, во-вторых, что идеологическая конструкция определяет до известной степени и возможность действия — независимо от того, насколько инструментально к ней относятся сами идеологи. Так, например, коммунистическая идеология не стала препятствием для заключения договора между Советским Союзом и Третьим Рейхом на исходе августа 1939 г., но внезапный союз стал проблемой, например, не только для международного коммунистического движения, но и внутри Советского Союза — растерянность, непонимание происходящего, затруднение в перестройке аргументации, попытка сохранить привычную идеологическую картину в новых условиях и создать некоторые компромиссные объяснения происходящего были повсеместны.

Если вновь обратиться к классикам, то можно напомнить известное определение Карла Маркса идеологии как «ложного сознания»: независимо от того, насколько мы в данный момент готовы актуализировать проблематику «истинного сознания», необходимо подчеркнуть, что идеология выступает именно способом осознания мира — иными словами, она определяет то, как мы воспринимаем реальность или какой-либо ее аспект, а это восприятие определяет наши действия.

Из этого вытекает и третий, наиболее важный с точки зрения интересующей нас проблематики, аспект — а именно то, что идеология является определенным идейным, интеллектуальным комплексом. Изучение интеллектуальной истории значимо постольку, поскольку идеи не произвольны — т. е., хочу я сказать, они обладают логическими следствиями, автономной логикой развития: приняв в качестве исходных ряд положений, мы можем

быть далеки от того, чтобы иметь представление о логических следствиях, из них вытекающих, — но мы не свободны от последних, более того, они обнаружатся в наших действиях — вынуждая нас *post factum* или принимать их как неизбежное последствие тех принципов, верность которым мы храним (и потому примиряемся с нежелательными следствиями, принимая их как «допустимые издержки»), или же пересматривать сами исходные принципы. И в том и в другом случае мы демонстрируем свою несвободу от автономной логики идей — не желая принимать следствия, мы можем объявить их случайными, частными случаями, не влияющими на исходные основания, — или же, напротив, представить фактическое положение как следствие идей, принятых нашими оппонентами, не желающими (справедливо или нет) считать себя ответственными за него.

Когда речь идет об *автономной логике идей*, то мы отнюдь не имеем в виду, что идеи независимы от ситуации, их выбор не определяется в той или иной степени интересом — однако значение имеет то, что этот выбор не детерминирован последним и, более того, мы способны оставаться верными идеям и в том случае, когда их результаты оказываются противоречащими нашим интересам. Более того, независимо от вопроса об интересе, обуславливающем наш первоначальный выбор, в дальнейшем мы оказываемся в ситуации, уже преобразованной сделанным нами выбором — связанными им в большей или меньшей степени, отказ от него, что достаточно очевидно, не возвращает нас в исходную ситуацию, а оставляет в уже преобразованной первым.

Таким образом, если интеллектуальная история национализма достаточно ограничена в своих возможностях рассказать нам о природе и истории национальных движений, формировании и развитии национализмов

(здесь во многом продуктивнее обращение к социальной истории и смежных с ней дисциплинам), то она весьма информативна в раскрытии того интеллектуального аппарата, которым пользуются национализмы, в анализе «способов сборки» конкретных интеллектуальных конструкций и анализе языков национализмов, в первую очередь относительно успешных, поскольку они становятся для большинства использующих их «прозрачными», само собой разумеющимися. Так, например, мы привычно говорим о «национальных особенностях», способны рассуждать о «национальных характерах» и «традициях», отсылать к «французскому менталитету» или видеть в том или ином персонаже «типичного немца» или «русского», наше описание мира чаще всего осуществляется через понятийную рамку «наций» и «национальных государств»: крупные объекты, которые мы выделяем в мире, это Италия, Польша, Венгрия, Россия.

Следует, впрочем, предостеречь и от иного варианта неверного понимания — то, что данные понятия, такие как «национальные государства» или «нации», имеют собственную генеалогию и выступают лишь одной из возможных рамок понимания способов кадрирования реальности, не означает их ложности — в смысле, далеком от того, как он обсуждался чуть ранее. Национальные государства являются, по меньшей мере, одними из наиболее значимых и влиятельных политических субъектов в современной реальности — и, следовательно, то, что мы в первую очередь фиксируем их, определяем наблюдаемые процессы через соотнесение с ними, идентифицируем и классифицируем людей в зависимости от их национальной принадлежности — не произвольное действие, эти классификации работают (в разнообразных смыслах: отчасти потому, что позволяют

нам предсказать, например, поведение другого человека, отчасти потому, что поведение других будет во многом определяться тем, как они идентифицировали другого, каким образом описали ситуацию — и, следовательно, в силу этого их описание оказывается верным по своим последствиям, по меньшей мере в плане объяснений их действий — и если последние имеют более или менее совпадающий с ожидаемым результат, то это значит, что ситуация была описана верно в прагматическом плане).

* * *

В данной работе понятия «национальное» и «националистическое движение» используются как синонимичные, также отметим, что термин «национализм» употребляется нами безоценочно, равно как и «империя», «колония» и производные от них. В большинстве случаев в работе мы старались прибегать к понятиям, используемым современниками, — соответственно, когда мы их вводим, то обозначаем кавычками, которые в дальнейшем в тексте снимаются: нередко в наши дни эти слова приобрели другие значения или на передний план вышли другие оттенки смыслов, слова и обороты, бывшие некогда нейтральными, приобрели оценочность, и наоборот. Мы постарались учесть эти аспекты интерпретации, работая над текстом книги, но не всегда это было возможно — потому просим непременно иметь в виду, что речь идет о феноменах прошлого и о событиях более чем столетней давности: за это время изменились не только политические границы, но и границы политического языка. Нашей целью было избегать любого политического высказывания, имеющего непосредственное отношение к современности — для подобного есть другие места

и ситуации. Это не означает, что у данного текста отсутствуют те или иные социально-политические, культурные и т. п. имплементации — от них не свободен автор, а следовательно, не может быть свободен и текст, однако они определяются тем, что вытекают из авторской оптики: в силу этого нечто оказалось неувиденным или не оцененным по достоинству в тех сюжетах, которые рассматриваются в тексте, ряд вопросов оказался не заданным, поскольку автор оказался к ним недостаточно восприимчив, однако это же обуславливает и то, что были заданы другие вопросы, которые иная оптика делала бы недоступными или не заслуживающими столь пристального внимания. Со своей стороны автору остается отметить, что он делал все, чтобы не только смотреть так, как он смотрит, но и рефлексировать свою позицию; насколько ему это удалось — судить читателю.

* * *

Для удобства чтения кратко остановлюсь на структуре книги: 1-я лекция посвящена общему обзору теорий национализма последних десятилетий, последующее изложение в целом построено хронологически — в лекциях 2–4 рассматриваются ранние варианты русского национализма, 2-я лекция характеризует положение Российской империи в начале XIX в. и особое внимание уделяет националистическому содержанию в воззрениях декабристов, 3-я лекция сосредоточена на формировании и утверждении доктрины «официальной народности», в 4-й рассматривается антинационалистический историософский проект П. Я. Чаадаева и анализируются теоретические основания славянофильства. В 5-й лекции, посвященной раннему украинскому национализму, я позволил себе некоторое отступление от хроноло-

гии: поскольку сюжет отличается логической связанностью, то мне представлялось предпочтительным довести его рассмотрение до конца Российской империи. В 6-й и 7-й лекциях рассматривается развитие русского национализма в новых условиях, в пореформенный период, причем в 7-й лекции акцент сделан на двух противостоящих позициях — с одной стороны, на анализе нового варианта «официальной народности», предложенного К. П. Победоносцевым и, с другой — на критике национализма со стороны Вл. С. Соловьева. Наконец, в последней, 8-й лекции подводятся итоги того пути, который русский национализм прошел к началу XX в., и дается краткая характеристика новых тенденций*.

* * *

Среди авторских обязанностей есть одна, которая неизменно доставляет удовольствие, — это долг поблагодарить тех, без кого данная книга была бы невозможна. В моем случае перечень тех, кому я обязан — их времени, опыту, поддержке и доброжелательному вниманию, — очень велик, и, к моему несчастью, я не могу назвать всех. Но несколько имен мне просто невозможно не назвать, поскольку без них ничего бы не получилось: я глубоко признателен Глебу Олеговичу Павловскому, Михаи-

* В книге частично использован материал ранее опубликованных статей, а именно: (1) в состав гл. 3 вошла ранее опубликованная в «Русском Журнале» статья «Создавая единую историю»; (2) в гл. 6 частично использована статья «Концепция общества, народа и государства И. С. Аксакова (первая половина 1860-х гг.)», первоначально опубликованная в № 1 за 2013 год журнала «Полития»; в гл. 7 частично использованы статья (3) «Русский консерватор: о системе политических воззрений К. П. Победоносцева 1870–1890-х годов», опубликованная в № 1 журнала «Социологическое обозрение» за 2017 г.

лу Яковлевичу Рожанскому и Александру Фридриховичу Филиппову, безмерна и моя признательность коллегам по Тихоокеанскому государственному и Балтийскому федеральному университетам, у которых я неизменно находил понимание и поддержку в своих начинаниях. Щедрая поддержка со стороны Совета по грантам Президента РФ, Германской службы академических обменов (DAAD) и Германского исторического института в Москве дали самое драгоценное — досуг, возможность обдумать и написать этот текст.

ЛЕКЦИЯ 1.

О ПОНЯТИИ «НАЦИОНАЛИЗМ» И ЛОГИКЕ ПРОЦЕССА НАЦИЕСТРОИТЕЛЬСТВА

— Вы, значит, увлекаетесь и нашей историей? — радостно воскликнул я.

— Конечно, — ответила саламандра. — Особенно белогорским разгромом и трехсотлетним порабощением. Я очень много читал о них в этой книге. Вы, несомненно, чрезвычайно гордитесь своим трехсотлетним порабощением. Это было великое время, сударь.

— Да, тяжелое время, — подтвердил я, — время неволи и горя.

— И вы стонали? — с жадным интересом осведомился наш друг.

— Стонали, невыразимо стонали под ярмом свирепых угнетателей.

Карел Чапек. Война с саламандрами (1936)

Термин «нация», как и целый ряд других терминов нашего юридического и социально-политического языка, пришел в русский, как и во все основные европейские языки, из латыни. На протяжении двух с половиной тысяч лет своего функционирования он сменил целый ряд значений, о чем существует большая и в высшей степени интересная литература*, к которой мы и отошлем —

* См.: (1) Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. Т. 2 / пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014; (2) *Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года.* — СПб.: Алетейя, 1998; (3) *Милл*

позволив себе напомнить лишь основные этапы. В Риме *natio* использовалось для обозначения различных групп пришельцев, в отличие от граждан — в Средние века термин меняет значение и уже у Беды Достопочтенного используется как синоним *gens*, «народов». Средневековые студенческие корпорации также обозначались при помощи термина *natio* — так, в средневековой Сорбонне (1237) насчитывалось четыре «нации»: (1) галльская, (2) норманнская, (3) пикардийская и (4) английская, причем в первую, галльскую, входили студенты, бывшие выходцами и из других романских стран, тогда как «английская нация» включала немцев и выходцев из других северных стран, а также жителей владений английского короля на континенте. «Нации» Сорбонны делились в свою очередь на «провинции». В Болонье примерно в то же время (1250) структура была аналогичной, но терминология разнилась: студенты делились на две корпорации по географическому принципу: (1) «цитрамонтанов» и (2) «ультрамонтанов» (как понятно по названию, критерием разграничения были Альпы), каждая из них делилась на три части, а уже эти последние подразделялись на *nationes*, которые обычно по смыслу переводят как «землячества» (*nationes* насчитывалось всего 30, 17 в первой корпорации и 13 во второй)*. По тому же принципу де-

лер А. И. Нация, или Могущество мифа. — СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016 — и приведенные в них библиографические указания для дальнейшего чтения.

* Отметим попутно, что аналогичное корпоративное устройство можно встретить в университетах Российской империи в начале XIX в. — так, в Дерптском университете существуют корпорации *Curonia*, *Estonia* и *Livonia* (образовавшиеся соответственно в 1808, 1821 и 1822 гг., объединив студентов из Курляндской, Эстляндской и Лифляндской губерний), а в дальнейшем, в 1829 г., возникают корпорации *Polonia* и *Ruthenia* — для выходцев из Царства

лились и участники церковных соборов — а в XIV в. «нациями» в городах Фландрии именовались вновь землячества, на сей раз купцов — выходцев из Венеции, Генуи, немецких городов, обладавших корпоративными правами. В дальнейшем значение продолжало меняться — так, в XVIII в. «нацией» именуются дворянские корпорации — под «польской нацией» (*narod polski*) понимается шляхта, аналогично и в Венгрии (*natio hungarica*). В этом же смысле уже по-русски употребляет термин «нация» Яков Иванович Булгаков, выступая по поводу польских дел в 1792 г. и заявляя, например:

«Знаменитое преимущество избрания Польских Королей, принадлежащее Нации» — т. е. имея в виду дворянское сословие.

Аналогичным образом еще ранее употребляет термин «нация» Денис Иванович Фонвизин в «Рассуждении о непременных государственных законах», написанных в начале 1780-х гг. Во Франции парламенты* рассматривали себя как представители «нации» (*nation*) перед королем — на протяжении XVIII в. понятия «народа» и «нации» сближались и, как отмечает Р. Шартье, «намеча-

Польского и внутренних губерний Российской империи, в Санкт-Петербургском университете в 1837 г. возникнут две корпорации: *Baltica* и *Ruthenia*, просуществовавшие вплоть до закрытия по Высочайшему повелению в 1844 г.

* Судебные учреждения, существовавшие до 1789 г. и несшие обязанность вносить в свои реестры королевские указы, в связи с чем пользовались правом ремонстрации — что было предметом противостояния королей и парламентов, обострившегося с 1750-х и приведшего к временной ликвидации их в 1770 г. путем замены т. н. «парламентами Мопу», по имени министра Людовика XV, проведшего эту реформу. После смерти Людовика XV и восшествия на престол его внука, Людовика XVI, парламенты были восстановлены.

ются контуры новой политической культуры» — так, например, в статье «Народ», написанной Жокурром для «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, говорится о рабочих и крестьянах как «самой многочисленной и самой необходимой части нации», однако при этом не допускается «и мысли о том, что они могут участвовать в управлении государством» и, что еще важнее, за ними не признается права на мнение — последнее принадлежит обществу (в смысле «образованного», «хорошего общества», уже отделившегося к этому времени от общества придворного).

В этом французском словоупотреблении XVIII в., времен «старого режима», видно, как формируется и зреет новый смысл — который будет отчетливо заявлен в 1789 г., и этот язык, на котором заговорят перед созывом Генеральных штатов, на котором Сийес говорит уже в своей брошюре «Что такое третье сословие?» (отвечая, что сейчас оно является ничем, но должно быть всем), этот язык уже будет понятен всем. Этот новый смысл отчетливо формулируется Сийесом, утверждающим:

«Третье сословие охватывает [...] все, что нужно для нации; а все то, что не есть Третье сословие, считать себя составной частью нации не может». Нация есть «эгалитарное общество граждан», «корпорация компаньонов, живущих по одному общему закону и представляемых одним и тем же национальным собранием».

Нация есть носитель суверенной власти: «Ее воля всегда законна, ибо сама и есть закон. Раньше и ниже нации существует только естественное право» — но в принципе очень схожее уже утверждает французский энциклопедический словарь 1785 г., не договаривая, разумеется, тех выводов, которые отчеканит Сийес:

«Нация есть тело Граждан, народ есть совокупность подданных королевства. [...] Король есть глава нации и отец народа».

«Нация» теперь выступает понятием революционным — означая «народ политический» и в идеале делая всех подданных — гражданами. Именно с этим новым значением понятия мы и будем иметь дело в данной книге — не всеми оно будет приниматься, ему будут придаваться новые значения и смыслы, однако перспектива XIX в. определяется этим новым смыслом — теперь разговор о нации есть разговор политический, вопрос о том, как возможно политическое сообщество, что значит быть гражданином и есть ли необходимость быть им.

* * *

С 1950-х гг., со времен выхода работы Ганса Кона, стало привычным делить национализмы (имея в виду в первую очередь европейские, на примере которых и была создана данная типология) на (1) гражданские и (2) этнические, причем эта типология фактически совпадала с делением по культурным регионам — а именно на национализмы (а) западноевропейские и (б) центрально- и восточноевропейские.

Следует прежде всего отметить, что, несмотря на масштабную критику данной типологии, на данный момент отвергнутой в научном плане, в ней есть рациональное зерно, которое — наряду с идеологической заданностью — обеспечивает регулярное возвращение к ней. Действительно, обращаясь к истории европейских национализмов, достаточно очевидно различие, существующее между западноевропейскими и центрально-

и восточноевропейскими — более того, целый ряд исследований, стремящийся выстроить последовательную и логическую схему развития национальных движений, как правило, обращаются к конкретному региону — и наиболее успешным и известным примером такого рода типологического построения является схема, разработанная на центрально- и восточноевропейском материале Мирославом Хрохом, к изложению и анализу которой мы обратимся позднее (см. гл. 3).

Значимость данного противопоставления проявляется не столько в рамках исторического описания, сколько как нормативного — достаточно напомнить концепцию «конституционного национализма» Юргена Хабермаса. Правда, в отличие от такого рода нормативных подходов, типология Кона предполагает, что в случае с западноевропейскими государствами и обществами мы имеем дело со значительным приближением к нормативному идеалу, в то время как для центрально- и восточноевропейских стран уместным оказывается говорить об историческом и культурном бремени, препятствующем им достигнуть данного состояния.

Согласно данному подходу, гражданский национализм означает принадлежность к своему национальному сообществу, определяемому по критерию гражданства, — образцовой в этом случае выступает французская ситуация, где каждый гражданин Франции, например, по конституции 1791 г., является французом. Таким образом, понятия «национальной принадлежности», «национальности» и «гражданства» совпадают, о чем и свидетельствует, например, визовая анкета — где графа *nationality* означает вопрос о том, гражданином какого государства вы являетесь. Напротив, центрально- и восточноевропейские национализмы являются «этническими», т. е. вопрос национальной принадлежности — это

не вопрос о гражданстве, а о том, к какой этнической группе вы принадлежите.

В первом случае вы можете выбрать и/или сменить национальность — приняв гражданство другой страны. Во втором если и можно представить себе смену национальности, то это значительно более сложный вопрос, который к тому же мало зависит от вашей воли — для того, чтобы быть немцем, нужно одновременно и значительно больше, и значительно меньше, чем чтобы быть гражданином Федеративной Республики Германия. Логика смены национальной/этнической принадлежности в этом случае описывается в категориях «германизации», «обрусения», «мадьяризации» и т. п., каковые могут быть как добровольными, так и насильственными.

Различие между двумя типами национализмов связывалось с различием исторической ситуации — в первом случае государственная рамка (*stato*) уже существовала, речь шла о том, чтобы на смену подданным (обладателям статусов, прав в смысле привилегий) пришли граждане. Подданные короля Франции до 1789 г. не были равны ни между собой, ни в отношении к королю — речь идет не только о представителях разных сословий, но и разных провинций — были провинции со штатами и без, провинции завоеванные и провинции присоединенные по соглашению, королевство Наварра находилось в унии с Францией, однако уния носила личный, а не реальный характер*. Революция провозгласила, что

* В связи с чем после смерти в 1795 г. принца Людовика, считавшегося монархистами после казни в январе 1793 г. его отца, Людовика XVI, королем Людовиком XVII, стал особенно актуальным вопрос о замужестве его сестры, принцессы Марии-Терезы-Шарлотты, — рассматривавшийся вариант замужества за членом Австрийского дома был принципиально отмечен, поскольку с юридической точки зрения оставался вопрос о наследовании престола Наварры, на которую не распространялся Салический закон и трон

отныне все подданные французского короля являются гражданами — т. е. равными между собой, носителями одних и тех же гражданских прав и обязанностей (с чем связана и отмена титулов, поскольку они в это время рассматривались в еще живой логике политических прав, связанных с обладанием ими, т. е. обладатель титула утверждал свое публично-правовое неравенство с гражданином).

Итак, в случае Франции подданные уже существующего государства превратились в его граждан — «французская нация» в данном случае выступала как носитель политических прав, состоящая из со-граждан, быть гражданином Франции и означало принадлежать к «нации». Но в ситуации восточнее французских границ подобная логика оказывалась бессильна, поскольку никакого подобного политического тела не существовало, — так, в ситуации Германии не было возможности конвертировать подданство государству в гражданство, поскольку самой Германии еще предстояло создать: на смену массе разнородных политических образований, входивших в состав Священной Римской Империи под во многом уже номинальным главенством императора, должно было прийти государство.

Специфика центрально- и восточноевропейской ситуации заключалась в том, что здесь нация должна была образоваться, сделаться зримой — чтобы затем получить возможность обрести полноту своего существования, т. е. образовать собственное государство, границы которого в идеале должны были совпадать с гра-

которой соединился с французским только в 1589 г., после пресечения династии Валуа и перехода короны к Генриху IV Наваррскому — в итоге принцесса была выдана замуж за племянника короля и наследника престола по нисходящей линии, герцога Ангулемского, что минимизировало угрозу отпадения Наварры.

ницами нации. Таким образом, нация и ее тело — национальные границы — должны были стать зримыми до того, как станут государственными, следствием первого в этой логике и должно было бы стать проведение вторых.

Тем самым существующие границы не могли служить исходной точкой отсчета — для этого надлежало найти иные критерии, позволяющие отграничивать «своих» от «чужих». Из этой ситуации неизбежно возникает вариативность национальных проектов, поскольку границы здесь оказываются тем, что еще необходимо провести — и понятно, что в качестве разграничительного признака может выступить весьма различное: язык, конфессиональная принадлежность, существующие границы, историческое наследие и т. д. Так, в случае с Германией, можно было по словам «патриотической песни» полагать, что она распространяется до тех пределов, до каких звучит немецкая речь, можно было, вслед за многими из польских патриотов, полагать, что границы Польши должны повторять те очертания, которые имела Речь Посполитая до первого раздела, в 1772 г., — а все те, кто населяют эти земли, должны войти в состав будущего польского государства, стать его лояльными и преданными гражданами. Однако в любом случае в Центральной и Восточной Европе процесс нациестроительства оказался связанным с этническим фактором — национальное строилось на основе тем или иным образом модифицированных пригодным к политической интерпретации образом этнических факторов.

В рамках данного прочтения «этнический национализм» оказывался вполне исторически объяснимым, но случайным обстоятельством — политическая архаичность обществ, расположенных к востоку от Рейна, отсутствие сложившихся современных государств, образова-

ние которых приходилось на то же самое время, что и складывание наций, приводило к тому, что государство не могло выступить монополистом в последнем процессе, напротив, здесь процесс образования современных государств и наций оказывался двуединым. Напротив, в западноевропейском случае подобных осложнений не было, поскольку нация и была политической общностью, «политическим народом» данного государства — и так как государство уже существовало, то в одном государстве не только не должно было быть, но и не было нескольких конкурирующих наций, поскольку таковая оказывалась производной от государства.

Однако исторические реалии, как и говорилось, далеки от подобной схемы — если о «гражданском» и «этническом национализмах», на взгляд многих авторов, и продуктивно говорить как о понятиях, позволяющих анализировать процессы в прошлом и настоящем, то отождествлять «гражданский национализм» с какой-либо реально существующей исторической общностью или полагать, что «этнизация» является случайным обстоятельством, отнюдь не необходимо связанным с «национализмом», не приходится*.

Если Францию обычно приводят как пример «гражданского национализма», то более подробное обращение к историческому материалу свидетельствует, что Франции вполне присущи черты, которые связывают с нацио-

* Более того, в современной ситуации происходит отказ от жесткого разграничения «национального» и «этнического», характерного для дискуссий 1980-х — 1990-х гг.: этническое в них выступало неполитической категорией, а этнические описания воспринимались как объективное, нейтральное описание многообразия человеческих общностей. В последние полтора десятилетия ситуация предсказуемым образом усложнилась — поскольку стало вполне очевидным, что производство этнических различий и языки этноописаний сами включены в общую логику процессов национализации.

нализмом этническим. Вторая империя (1852–1870) во главе с Наполеоном III вполне демонстрирует логику «собирания» французов в этническом смысле — добиваясь присоединения к Франции в 1859 г. Савойи и Ниццы и стремясь в 1867 г. к аннексии франкофонной части Бельгии (как ранее подобная же цель была характерна для значительной части либералов и радикалов Июльской монархии). Французская история XIX в. дает пример ситуативного обращения к различной по своей природе аргументации — от логики собирания всех компактно проживающих «французов» (определяющихся по различным критериям, чаще всего по языковому) в рамках одного государственного целого вплоть до логики «естественных границ» (каковой на востоке выступает граница по Рейну): перед нами не единая последовательная аргументация, а обращение к различным по своей природе аргументам, в зависимости от ситуации пригодным, дабы обосновать территориальную экспансию или право на удержание уже завоеванных территорий. Аналогичным образом, вполне этнонациональная логика проявится уже во времена Третьей Республики, в ходе дела Дрейфуса — для французских республиканцев оно станет существенным испытанием, в отличие от приведенных ранее примеров, поскольку теперь вопрос будет стоять не об экспансии, а о существующем национальном целом, т. е. о том, что далеко не все граждане Франции могут в равной степени рассматриваться в качестве «французов»: противостояние дрейфусаров и антидрейфусаров выявит глубокий конфликт внутри французского общества о том, кого можно считать лояльными гражданами, продемонстрировав, что для многих — чтобы считать другого принадлежащим к той же политической общности, лояльным ее членом, — требуется многое, выходящее за пределы гражданских критериев.

В современной ситуации мы сталкиваемся по существу с теми же проблемами — как отмечает Бернард Як, анализируя «конституционный национализм» Юргена Хабермаса, призывы последнего к национализму как верности конституционным принципам, старательно очищенным не только от всякого призрака этничности, но и от апелляций к историческому прошлому, традиции и т. п., обретают вес и смысл только в перспективе не называемого, но подразумеваемого исторического прошлого — немецкой катастрофы 1933–1945 гг., поскольку в противном случае остается совершенно непонятным, почему границы для этой общности пролегают так, а не иначе, что является столь сильным спланивающим мотивом совместно избегать иных, выходящих за пределы чисто конституционных, оснований единства. Гражданский или, в предельной форме, конституционный национализм содержит апелляцию к прошлому — если не в явном, то в скрытом виде, не в позитивной, а в негативной отсылке: общее прошлое, которое нас объединяет, может быть и прошлым, повторения которого мы решили во что бы то ни стало не допустить, это может быть общая вина — но в любом случае «общность» эта предшествует индивидуальному существованию: мы наследуем, а не начинаем с чистого листа.

С 1980-х, а в особенности в 1990-е в центре внимания оказался «конструктивистский» поворот в понимании наций и национализмов. Формулируя предельно общо, можно сказать, что «конструктивизм» в лице таких исследователей, как Эрнст Геллнер или Эрик Хобсбаум, исходил из тезиса о «модерной» природе наций — последние есть феномен современности, и говорить о нациях применительно к предшествующим эпохам в том же смысле, в каком мы говорим о европейских нациях XIX в., принципиально ошибочно. В логике Геллнера

процессы нациестроительства непосредственно связаны с наступлением индустриального производства — когда, радикально упрощая, на смену крестьянам приходят рабочие.

Индустрия — это стандартизация, в том числе и стандартизация рабочей силы — рабочие должны быть способны выполнять идентичные задания идентичным образом, должны быть включены в массовый, т. е. в числе прочего стандартизированный (что и позволяет его массовизировать) рабочий процесс, понимать инструкции и приказы, которые к ним обращены, взаимодействовать друг с другом в рамках трудовых функций. Это означает, что рабочие должны получить минимальное опять же стандартизированное образование — научиться читать и писать, иметь общий язык с другими рабочими и с начальниками, т. е. говорить не на своих местных диалектах, а на одном языке с другими. Согласно классическому объяснению Геллнера, модерное общество в отличие от предшествующего предполагает не (только) вертикальную, но и горизонтальную связь — т. е. интенсивность горизонтальных взаимодействий и их территориальный охват принципиально увеличились.

Это не означает, что в домодерном обществе не было, например, контактов на больших расстояниях — но эти контакты не были массовыми. Так, например, можно сказать, что в Высокое Средневековье интеллектуальные обмены между членами университетских корпораций географически были интенсивнее, чем к концу XIX в. — если к концу этого столетия каждая из больших европейских стран обзавелась собственной университетской системой, в первую очередь поддерживающей контакты внутри себя и имеющей довольно ограниченные внешние контакты, то в XV в. верно будет говорить об общеевропейской университетской системе. В особенности это

заметно на уровне студентов, которые для XIV–XV вв. будут выходцами из самых разных стран, зачастую получающих образование в различных, весьма удаленных друг от друга университетах — русский, немецкий или французский студент 1880-х за редкими исключениями учится в своей собственной стране. И этому способствует не только то, что теперь образование, как правило, ведется на «национальном языке», в отличие от латыни, бывшей базовым языком университетского преподавания в Европе еще в XVIII столетии, — стандартной является практика создания все новых и новых препятствий к признанию дипломов и степеней, полученных в других странах: это общий процесс постановки образования под государственный контроль. Возвращаясь к обсуждаемому вопросу — на приведенном примере можно видеть, что речь применительно к модерну идет именно о массовизации обменов: домодерные общества могли обладать вполне космополитичными элитами — и каждая империя предоставит этому яркий пример, — однако подавляющая часть жителей вела вполне отграниченное от других, таких же, как они, групп существование. Контакты с центром и контакты с другими группами носили ограниченный характер — и потому, например, местные диалекты могли существовать и стабильно воспроизводиться, возникать и развиваться разнообразные местные культурные практики, локальные культы и т. п. — взаимодействие строилось в первую очередь «вертикально», поскольку в условиях слабо развитого товарного производства нет стимулов для развития горизонтальных обменов. Империи могли объединять десятки миллионов подданных, но повседневная жизнь большей части этих рядовых подданных мало менялась от этих перемен, равно как от того, какой короне в данный момент принадлежала данная провинция.

Индустриальное развитие создает массовое общество — а в культурном и политическом отношении это массовое общество практически тождественно нации: для того, чтобы могло существовать индустриальное производство, необходимо, чтобы по возможности все обладали минимальными необходимыми культурными навыками, т. е., например, были грамотны, чтобы прочесть инструкцию и получить информацию о происходящем из газеты, причем на одном языке, они должны обладать минимальными общими представлениями, культурными образами, чтобы понимать друг друга и те образы, к которым апеллируют, оказывались бы общезначимыми (например, имя Жанны д'Арк должно нечто говорить любому взрослому французу, независимо от того, насколько он образован и где именно он живет, а Фридрих Барбаросса должен у любого немца вызывать образ длиннобородого старца в латах, сидящего на своем троне где-то в горах):

«Национализм очень глубоко уходит корнями в своеобразные структурные требования индустриального общества. Это движение не является плодом идеологической абстракции или эмоциональной невосдержанности. [...] это движение является внешним проявлением глубинного процесса урегулирования отношений между государством и культурой, которое совершенно неизбежно».

Хобсбаум в инициированном им сборнике «Изобретение традиций» и затем в ярком эссе «Нации и национализм после 1780 года» продемонстрировал, что обычная для националистического дискурса отсылка к «традициям», выстраивание генеалогий, уходящих в далекое прошлое, — имеет мало общего с действительностью. «Традиции», в том смысле, когда мы говорим о традициях

«шотландских» или «французских», — феномен не только недавний, но и возникающий в тот момент, когда традиционный уклад жизни подвергается радикальным переменам: мы обращаемся к традициям тогда, когда они, собственно, уже отходят в прошлое — более того, логика «сохранения традиций» здесь не действует, поскольку радикально меняется контекст — так, на примере известной шотландской клетки, якобы присущей каждому из кланов, было продемонстрировано, во-первых, что сама эта система возникла усилиями непрофессиональных этнографов, историков и любителей старины в 1820–1830-х гг., и, во-вторых, вписана в гораздо более любопытный процесс — а именно создания «шотландскости», где за образец последней были взяты обитатели северных, горных районов Шотландии, традиционно противостоявшие и противопоставляемые обитателям Lowland'a с центром в Эдинбурге, но конструировалась эта «шотландскость» именно в низинной Шотландии, в противопоставлении с Англией.

В данном случае можно видеть ту общую логику, которая мыслит процесс нациестроительства как составную часть модерна — образования больших общностей, каковыми и являются нации: в предшествующие эпохи «шотландскость» не существует, поскольку нет запроса на актуальную общность подобного масштаба — напротив, в условиях современного общества, с его, в частности, системами коммуникации, экономических, социальных и информационных обменов, образуются большие человеческие сообщества и возникает запрос на систему средств их описания и (само)соотнесения себя с ними.

Национализм предстает как способ сплочения общества — в смысле территориальной и политической общности. В этом смысле современное государство появляется

до нации — но, развиваясь, оно не может существовать без последней, поскольку смысл ее заключается в том, чтобы члены этого территориального сообщества воспринимались как «свои», а находящиеся за его пределами — как «чужие», независимо от того, что по целому ряду параметров ситуация может представляться совершенно иной: попросту говоря, французский рабочий, в той мере, в какой он осознает себя французом, членом французской нации, способен проявлять солидарность с французским промышленником, а не с немецким рабочим. При конкурирующих лояльностях в ситуации конфликта между ними национальная должна оказываться преобладающей — в этом смысле Кожев, например, отмечал, что между государством и католической церковью существует принципиальный, структурный конфликт, который обе стороны научились минимизировать, и в силу той же логики коммунистическая партия, действительно являющаяся коммунистической, не может быть терпима в государстве — поскольку утверждает партийную лояльность выше национальной, в отличие от других политических партий, помещающих политическое противостояние в национальную рамку. Если описать ту же ситуацию в марксистской оптике, то национализм — способ подмены классовых конфликтов, причем, поскольку этот способ является действенным, это означает, что за ним лежит реальное содержание — а именно действительное единство интересов, связанное с территориальным единством: национальное государство образует экономическую, социальную, культурную общность и, следовательно, порождает общие интересы, связанные с развитием, например, национальной экономики — по крайней мере до тех пор, пока национальные экономические системы существуют, т. е. связи внутри национальной общности значимее,

чем вовне (например, внутренний рынок является основным).

При всей столь подчеркнутой — в первую очередь Геллнером — роли государства может возникнуть вопрос о феномене национальных движений, направленных против государства, стремящегося к образованию гомогенной нации. В рамках данной теоретической схемы национальные движения — естественная часть процесса, связанная с тем, что национализирующееся государство (которое само находится в процессе становления, т. е. национализация есть аспект становления современного государства, в нормативном смысле являющегося национальным государством) оказывается неспособным достаточно эффективно гомогенизировать население. Причины этого могут быть крайне разнообразны — начиная с того, что у государства отсутствуют достаточные ресурсы для проведения национальной политики достаточной степени интенсивности*, и вплоть

* Например, недостаточно ресурсов для создания системы массового обучения той степени плотности, на которую существует запрос. Это означает, что массы населения приобретают первоначальные культурные навыки современной эпохи через альтернативные системы или сохраняют во многом свои домодерные практики, модифицируя их в меняющихся реалиях — вне эффективного доступа к «высокой культуре». Другим осложнением может стать обеспечение подобного доступа без достаточных социальных лифтов — иными словами, когда формируется более или менее значительный образованный слой, при этом не находящий себе того применения в существующих условиях, на которое он претендует. В том случае, когда интеллектуалы, находящиеся в подобном положении, принадлежат к преобладающей культурной общности, они становятся противниками существующего политического и социального порядка — из них, тех, кто в достаточной мере активен и радикален, рекрутируются революционеры. Однако в том случае, когда интеллектуал, находящийся в подобном положении, способен соотнести себя с каким-либо меньшинством, то для него открыта опция не изменения «общего порядка вещей» в данном сообществе, а действий, направленных на дистанцирование от него, соотнесения себя с другой общ-

до того, что имеющееся социальное и культурное многообразие слишком велико, чтобы быть включенным в единый гомогенизирующий проект — и при этом, например, существуют другие политические субъекты, например, соседнее государство, реализующее проект, в который часть населения данного государства имеет возможность включиться с меньшими издержками, чем в реализуемый своим собственным государством. Более того, очевидно, что для разных групп в рамках одного и того же проекта существуют различные условия вхождения — высота того барьера, который необходимо преодолевать для включения:

«Неравный доступ к языку и культуре более развитого в политическом и экономическом отношении центра и удерживание коренных жителей в рамках местных культур, что часто возбуждает в них и в их лидерах культурный и политический национализм, безусловно, являются своего рода сопротивлением энтропии. Рабочим-мигрантам, не владеющим даже диалектным вариантом основного государственного языка, которым пользуются чиновники и предприниматели, именно по этой причине будет изначально отведено место

ностью — положение которой и положение себя теперь описываются через угнетенное, несамостоятельное положение не социального слоя, но этнического сообщества. Так, например, для окончившего гимназию выходца из белорусского местечка в 1890-х гг. была возможность соотносить себя с «российской интеллигенцией» и включиться в борьбу с самодержавием или же выбрать, например, путь сионизма или еврейского рабочего движения — или, как менее распространенный, но также возможный вариант — соотносить себя с более широким, но также обособленным по отношению к Российской империи в целом регионом — с Белоруссией, с ее «народом» (в смысле «простого народа», описав его как белорусов) и стать представителем белорусского национального движения. Отметим попутно, что сам выбор не является однократным — на протяжении жизни, в зависимости от меняющейся ситуации, подобное самоотношение может измениться, иногда неоднократно.

внизу социальной иерархии. Из-за этого у них будет меньше возможностей покончить с несправедливостью, касающейся не только их самих, но и их детей. С другой стороны, когда их язык (или скорее нормативный, упрощенный вариант одного из диалектов) станет языком системы образования, государственных учреждений и делового общения получившего независимость национального государства, именно эти неудобства исчезнут, а культурные особенности больше не будут препятствовать энтропии».

Стройная концепция Геллнера, однако, практически сразу же подверглась серьезной критике — в первую очередь в аспекте прямолинейно прочерченной им связи между индустриальным развитием и национализмом: исторический материал свидетельствовал, что во многих случаях национализм возникал задолго до того, как соответствующее общество вступало в индустриальную фазу, — так, например, применительно к балканским движениям XIX, а во многом и XX в., приходится говорить о вполне оформившихся и достигших успеха национализмах в обществах, которые далеки от индустрии, а главными субъектами такого рода национализмов оказывались местные интеллектуалы, военные и крестьяне.

В усложненной оптике национализм оказывался не следствием индустрии, но «одним из путей в современность»: для целого ряда обществ национальные движения были не следствием вхождения в индустриальное общество, а феноменом, с ним связанным и нацеленным на включение в него. Обращаясь к изложенной ранее модели Ганса Кона, дебаты последних десятилетий относительно истории европейских национализмов привели к разграничению национализмов на две группы:

— первой, весьма малочисленной, включающей *«самостоятельные»*, «автохтонные» нации — образовав-

шиеся под влиянием внутренних вызовов — примерами чему служат Англия и Франция;

— и второй, включающей при всех внутренних различиях практически все известные типы национальных движений, имеющих *реактивный* характер, — образовавшихся под влиянием внешних вызовов со стороны уже оформившихся национализмов по модели цепной реакции — когда, в противостоянии вызову со стороны другой национальной группы, противостоящее ему общество вырабатывает собственные национальные проекты.

Примером второго рода может служить Германия — формирование немецкого национализма тесно связано с наполеоновскими войнами, сознанием неспособности противостоять наполеоновской Франции, особенно острым после разгрома Пруссии в 1806 г., пережитым немецкими элитами — и необходимости не только глубоких реформ, чтобы оказаться способными дать ответ Франции, но и общественной мобилизации — в том числе в сугубо военных целях, поскольку революционная и наполеоновская армия продемонстрировала, каким ресурсом является массовая, народная армия, а для последней, в отличие от профессиональной, необходимо, чтобы солдаты понимали, за что они сражаются, были способны отождествлять себя с государственными военными целями, испытывали патриотизм, т. е. были сознательными гражданами — принадлежали к нации. Таким образом, национальный импульс здесь был во многом привнесенным извне — нация формировалась как ответ на создавшуюся извне ситуацию и, что особенно важно, формировалась достаточно сознательно, с оглядкой на уже существующие образцы: подобное положение вещей вполне типично для процессов нациестроительства в XIX–XX вв., когда различные государ-

ства и национальные движения опираются на существующий опыт, постоянно взаимодействуют друг с другом и усваивают продемонстрировавшие успешность практики. В этом, собственно, нет ничего удивительного — значимо то, что во многих случаях национализм выступает в роли заимствуемой культурной модели: подобно тому, как в современном мире для государства, чтобы быть принятым в число других, необходимо (за малочисленными исключениями) декларировать, что оно является демократическим и обладает соответствующими атрибутами — например, представительными органами власти, независимо от того, в какой степени их декларируемые полномочия и функции совпадают с реальными, так к началу XX в. быть «современными» значило говорить на языке национализма — польского, индийского или египетского.

Другой значимый аспект в изучении наций и национализмов был поднят в знаменитой работе Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества» — в отличие от Геллнера, Андерсон сосредоточивается на медийной природе нации. Необходимо уточнить, что «воображаемый» характер нации не имеет отношения к совершенно ложному тезису о ее иллюзорности — понятие «воображаемого сообщества» противопоставляется сообществу «реальному», т. е. человеческим сообществам, члены которых взаимодействуют «лицом к лицу», имеют непосредственные контакты, как, например, жители деревни. К числу «воображаемых сообществ», помимо нации, принадлежит, например, церковь — католик знает тех, кто принадлежит к его приходу, знает отца-настоятеля, может быть знаком с епископом, возможно, имеет контакты той или иной степени интенсивности с прихожанами нескольких других приходов, и есть шансы, что видел нескольких епископов, кардиналов и удостоился чести

лицезреть Святого Отца. Однако если говорить о таком человеческом сообществе, как католическая церковь (беря исключительно социальный аспект), любой человек в своих контактах весьма ограничен — круг его взаимодействия включает несколько сотен, возможно даже — тысяч человек, но не более того. Равным образом, когда мы говорим о «государстве», например о России или о Франции, то мы не можем его увидеть — причем принципиально, ведь это не наблюдаемый объект: даже если нам доведется посмотреть из космоса, то мы увидим лишь поверхность земли, но никак не государственную территорию — у нас может быть опыт пересечения государственной границы, но и в этом случае мы видим конкретные строения, шлагбаум, людей в форме — когда мы приходим в суд или в полицию, то и там мы не можем увидеть «государство как таковое»: государство мы созерцаем, разглядывая политическую карту, где проведена линия, обозначающая государственную границу и территория в пределах этой линии закрашена каким-то цветом — карта визуализирует территорию страны, символы — такие, как государственный герб и флаг, гимн — обозначают для нас государство, равно как форма одного вида отличает для нас наших пограничников от польских на государственной границе. «Воображаемые сообщества» — это те, которые приобретают для нас реальность как целое именно через подобные проявления, мы переживаем свою принадлежность к ним в своем воображении, а не в реальных действиях — т. е., когда мы участвуем в сельском сходе, то мы можем наблюдать всех или большую часть обитателей села, а когда участвуем в параде или шествии, прославляющем наше отечество, то тогда каждый из нас, переживая реальность действия и через него испытывая принадлежность к сообществу, тем не менее само действие определяет как «представи-

тельство» нации/государства/церкви — т. е. замену одного объекта другим, долженствующим его представлять (другое дело, что характер этой замены может пониматься, допустим, как символический, в понимании Шеллинга, т. е. как «конечное воплощение бесконечного»).

Тем самым процесс нациестроительства — это процесс, в ходе которого члены одной нации научаются «совместно вообразать», не обязательно одинаково, но достаточно однородно — что и делает их членами одной нации, они принадлежат к одному информационному сообществу, т. е. не только обмениваются информацией, но и обладают в достаточной мере общим контекстом. Создание нации, таким образом, связано с поздним модерном теперь уже не в рамках предложенной Геллнером прямой зависимости от индустрии, а с появлением медиа, быстрым процессом вовлечения большей части общества в единую систему информационных обменов. Нация строится через посредство: (1) школьного образования — которое распространяет, например, единый нормативный язык, общее представление о прошлом, общий культурный канон; (2) армию, во многом выполняющую те же функции; (3) средства массовой информации — сначала массовая печать, «век газет», а затем радио и телевидение, обеспечивающие общенациональную информационную повестку, и (4) создание мест памяти — от национальных монументов до национальных музеев, структура экспозиции которых призвана провести посетителя от глубокой древности к настоящему моменту, показать нацию в истории — как она прошла свой тяжелый, но неизменно славный путь, чтобы достигнуть настоящего момента и предуготовить славу в будущем, которая превзойдет или будет достойной прошлого.

Теории 1980–1990-х гг. ставили в центр внимания проблематику «нации», увязывая с ней «национализм» как движение, направленное на создание таковой. Однако по мере того, как дискуссии углублялись и методологические вопросы становились все более сложными, становилось очевидным, что парадоксальным образом собственно «нации» вполне не встречается — каждое национальное движение отсылает к примеру неких других «наций», состоявшихся, создавших «национальное государство», но на практике последние регулярно апеллируют к прошлому, когда «национальное единство» действительно существовало, и/или обращаются к будущему, призывая к действиям, которые позволят «нации» осуществиться, преодолев современные препятствия. В этой связи в последние годы гораздо чаще говорят не о «нациях», а о «национализмах» — если итогом дискуссий предшествующих лет стал консенсус, согласно которому не «нации» порождают «национализм», а последний, напротив, формирует «нацию», то в современной оптике «нация» все чаще осмысливается как «идеальный объект», образ, определяющий действия конкретных групп (см. работы Р. Брубейкера).

Подход к пониманию наций и национализмов, представленный в работах Андерсона, Геллнера, Хобсбаума и целого ряда других авторов, получивший название «конструктивизма», встретил критику, в первую очередь в том отношении, что он акцентировал современную природу названных феноменов — на взгляд оппонентов, в первую очередь Энтони Смита, современные нации вырастают на домодерных основаниях, степень разрыва с предшествующими формами не следует преувеличивать. Вместе с тем, на наш взгляд, большая часть критики, направленной в адрес конструктивистских теорий, недостаточно учитывает то обстоятельство, что для последних

в центре внимания находится (и будет находиться для нас) нация как политический феномен — для предшествующих XIX в. времен о последнем говорить в сколько-нибудь близком к современному значении практически не приходится, особенно если исключить случай Англии, справедливо считающейся первой современной нацией. Политическая общность, расширяющаяся в идеале до всех жителей данной страны, образуется, разумеется, не на пустом месте — однако само складывание политической общности означает переход в другой род: сами по себе исторические предания, этнические различия и т. п. практически бесконечны в своем разнообразии — не все они в равной степени пригодны, чтобы стать факторами массовой мобилизации, но их всегда больше, чем тех, каковые станут *значимыми* — в политическом отношении. И нет никакой предопределенности в том, что именно станет таковым — там, где возникает необходимость разграничения, политического обозначения «своих» от «чужих», там подыскиваются в реальности те различия, по которым окажется возможным провести границу. Будет ли это язык, вероисповедание, цвет кожи или нечто еще — зависит от ситуации, более того, то, что на данный момент не имеет подобного значения, вполне может приобрести его при изменении положения вещей, поскольку политическое — не сущностная характеристика, все что угодно может обрести политическое значение и, следовательно, нет ничего, что по своей природе было бы политическим или, напротив, свободно от политики*.

* Напомним, как всего несколько десятков лет назад всемирные шахматные турниры были политическими событиями и вопрос о том, кто будет чемпионом мира, занимал внимание правителей мировых держав — ныне же мало кто из нешахматистов скажет, как зовут сегодняшнего чемпиона мира: политическое измерение приобрели теперь иные ситуации.

* * *

Очерчивая общие контуры понимания националистических движений XIX в., необходимо остановиться на их соотношении с «тремя большими идеологиями», т. е. либерализмом, консерватизмом и социализмом. Прежде всего, на наш взгляд, принципиально неверно рассматривать «национализм», как это нередко встречается, наряду с этими идеологиями — он не представляет собой иного, альтернативного по отношению к ним идеологического проекта, но способен в той или иной степени сочетаться с каждым из них, т. е. перед нами разнорядковые феномены.

Либерализм — самая старая из «больших идеологий», вполне оформившаяся в первые десятилетия XIX в. На протяжении 1-й половины этого столетия национализм непосредственно воспринимался как проявление этой идеологии — исходящей из принципов народного суверенитета, равенства граждан перед законом и перед судом, правового порядка, который может обеспечен посредством народного представительства и разделения властей. Националистические движения выступали против существующего положения вещей, традиционных иерархий и сложившихся границ.

Вместе с тем национализм позволял осуществить идеологическое переключение с проблематики гражданского неравенства на проблематику национальной независимости — достигнуть свободы значило освободиться от внешнего господства, от навязанного порядка — быть свободным означало принадлежать к «свободной нации». В этом отношении есть глубокое внутреннее согласие между двумя интерпретациями свободы в рамках либерализма 1-й половины XIX в., внешне противостоящих друг другу. Бенжамен Констан, как известно, фор-

мулируя принципы либерализма, в 1810-х — начале 1820-х противопоставлял «свободу древних» и «свободу новых»: первая была публичной свободой, свобода гражданина означала свободу от внешнего, т. е. чужеземного господства — гражданин Рима или Афин был *свободен не от своего полиса*, но был *гражданином свободного полиса*. Напротив, «свобода новых» — это свобода частной жизни, то, что затем, продолжая логику Констан, Исайя Берлин назовет «свободой от», *негативной свободой* — свободой поступать по своему усмотрению, по своему произволу в пределах, определенных правом. Политические гарантии, подчеркивал Констан, необходимы в той мере, в какой они обеспечивают эту свободу — политическое тем самым не самоценно (в отличие от свободы древних), мы, если угодно, вынуждены к политике, поскольку в противном случае утратим свободу быть свободными от нее.

Вторая интерпретация продолжает республиканскую традицию — понимание политического как «общего дела». На протяжении XIX в. она будет ослабевать в рамках либерализма, где на передний план будет выходить обеспечение сосуществования, совместной защиты свобод — а не совместного пользования ими. И тем не менее для первой половины XIX в. республиканское прочтение весьма актуально, поскольку либерализм остается, вплоть до 1848 г., революционной идеологией.

Согласие между двумя названными, вроде бы на первый взгляд радикально расходящимися трактовками, в преодолении заложенного в либеральную идеологию XIX в. противоречия — принципа всеобщего гражданства и одновременно ограниченности доступа к гражданским правам. Европейский либерализм XIX в. опирается на принцип народного суверенитета: из этого

логически вытекает, что весь народ является гражданами — при подразумеваемом условии, что под «народом политическим», т. е. «нацией», подразумеваются мужчины, достигшие зрелого возраста, т. е. способные нести права и обязанности. Если ограничение «политического народа» лишь мужчинами на протяжении большей части XIX в. остается консенсусным, то другой аспект той же проблемы с самого начала оказывается актуальным — еще в рамках обсуждения первой французской конституции возникает вопрос о гражданстве и Э.-Ж. Сийес дает ему типовое разрешение. Прежде всего он заявляет, что гражданами должны быть «все обитатели той или иной страны» — т. е. всякий постоянный житель данной страны должен быть причастным существующему политическому строю — что обеспечивает легитимность последнего, отныне связанного с понятием народного суверенитета, становящегося универсальным. И в то же время ограничение гражданства необходимо — по критериям возраста, но и пола, состоятельности, обладания недвижимым имуществом, образовательным цензом или как-либо еще. В идеале гражданином должен быть каждый — и в то же время не всякий способен им быть, из чего возникает разграничение на «пассивных» и «активных» граждан: только последние являются «подлинными акционерами этого великого общественного приятия», лишь они «являются [...] полными членами общества».

Это разграничение позволяет не только восстановить иерархию в политическом порядке, там, где принцип гражданства ее вроде бы отменил, но одновременно и обосновывает, почему «пассивные граждане» тем не менее остаются «гражданами» — в логике Константа они пользуются всеми свободами частного существования, которые возможны только при существовании публичного

порядка, регулируемого либеральными принципами, и в то же время они являются «гражданами» и в активном смысле — вставая на защиту или утверждая данный политический порядок, как, например, в июльские дни 1830 г.

Консерватизм в качестве относительно цельной идеологии формируется вслед за либерализмом и как ответ на него — это связано с самой природой консервативной идеологии, реактивной по своей сути. Следует напомнить, что на протяжении 1810–1820-х гг. консервативные настроения были преобладающими — после десятилетий революционных и постреволюционных войн, приведших к огромным человеческим и материальным потерям в Европе, разрушившим многие привычные уклады существования, возник существенный общественный запрос на «успокоение»: консерватизм был в большинстве случаев далек от реакции — он утверждал разумность существующего порядка вопреки его кажущейся неразумности, был скептической установкой в отношении человеческого разума — кажущееся неразумие чего-либо, согласно данной логике, может вполне быть следствием неразумия наблюдателя, у существующего всегда есть некое преимущество по отношению к любой альтернативе — то обстоятельство, что оно уже существует. Консерватизм апеллировал к локальному, конкретному — на место «человеческого разума» и «человеческой природы» вводил представление о том, что конкретный человек не является «человеком вообще», всякое общее рассуждение, даже будучи совершенно верным, чтобы быть истинным в конкретной ситуации, требует поправок, обусловленным локальным контекстом его приложения. Иными словами, консерватизм не имеет собственной автономной повестки — она производна от той, которой он противостоит (и в этом смысле его отно-

шения с реакцией весьма сложны — ведь радикальная реакция в глазах консервативной мысли остается в первую очередь «радикальной», тем самым требующей противодействия, поскольку аналогично радикализму нацелена на принципиальную перемену положения вещей, с другой стороны, реакция может быть оправдана как противодействие радикализму: «чтобы выправить палку, необходимо перегнуть ее в другую сторону»).

Революция 1789 г. поставила в центр политического размежевания вопрос о верховной власти — кто является сувереном, кому принадлежит суверенитет — отвечая на него утверждением, что носителем суверенитета является народ в его политическом измерении, т. е. нация. Символически это было закреплено в присяге короля конституции, официальным изменением титула с «короля Франции» на «короля французов» (т. е. король перестал быть владельцем королевства и стал его главой) — впрочем, радикальная символическая перемена была утверждена еще в 1789 г., ознаменовав принципиальный характер перемен — в тот момент, когда Генеральные штаты, созданные королем, провозгласили себя Учредительным собранием, т. е. носителями учредительной власти, источником права, ограниченным лишь в той мере, в какой их власть есть производная от власти народа (в дальнейшем это приведет в проблеме соотношения власти народного представительства и референдума как непосредственного выражения воли суверена).

До этого времени проблематика природы королевской власти не была в числе актуальных — так, для просвещенных монархов, таких как Иосиф II Австрийский или Екатерина II, были характерны апелляции к народу, обоснования своей власти как производной от народа — в отсутствие радикальной постановки вопроса монарх зача-

стю имел заинтересованность в подобной идеологической конструкции, позволявшей ему ссылкой на народ преодолевать корпоративные привилегии и т. п. Революция поставила вопрос принципиально — и, соответственно, привела в качестве ответа к оформлению доктрины «союза трона и алтаря», легитимистских доктрин и т. п.: теперь власть монарха утверждалась как власть «Божией милостью», т. е. имеющая принципиально другой, помимо народа, источник легитимности.

Национализм и легитимизм (а консерватизм первых десятилетий XIX в. носил легитимистский характер) практически несовместимы — в этой связи для Священного Союза национальный принцип выступает совершенно неприемлемым: Италия, по словам Меттерниха, есть лишь «географическое понятие» и рассуждать об объединении Италии могут только карбонарии — монархическая солидарность распространяется широко, по крайней мере достаточно, чтобы не только попытаться поддержать попытку восстановления Испанией контроля над американскими колониями (потерпевшей неудачу по причине восстания войск, собранных для экспедиции, — теперь уже Франции пришлось отправлять в Испанию войска для подавления бунта либеральных полковников, благодаря чему Франция возвращается в круг великих держав), но и обеспечить на несколько лет невмешательство в ситуации греческого восстания против Османской империи. Постепенно, однако, ситуация меняется — европейским правительствам все труднее, с одной стороны, противостоять поднимающемуся национализму и либерализму, им приходится в той или иной степени идти с ними на компромисс, с другой — значительным является и соблазн, который для некоторых держав представляет националистическая волна. Так, в случае Пруссии, монархия колеблется между

принципами легитимизма и поддержания существующего порядка и теми возможностями, которые представляет германский национализм, — в ходе германской революции 1848 г. для короля Пруссии будет большим искушением принять корону нового Рейха, пусть и от имени германского народа и по решению Франкфуртского сейма.

Важным водоразделом в истории отношений национализма и консерватизма становится история II Империи — Наполеон III активно использует во внешней политике «принцип национальностей» (следует отметить, что речь идет исключительно об «исторических народах» — далеко не всякий народ имеет право в этой перспективе, общей для XIX столетия, на самостоятельное национальное существование, он должен доказать свою способность — в то время как участь иных народов стать «этнографическим материалом», предназначенным для поглощения другими народами, чтобы увеличить их мощь и значение), подобно тому как еще ранее савойский королевский дом в стремлении к экспансии сделал ставку на умеренное, немадзинистское крыло итальянских националистов и в 1848 г. предпринял попытку возглавить объединение Италии, — попытка не удалась, королю Карлу Альберту пришлось отречься от престола в пользу юного сына, Виктора Эммануила II, которому суждено было стать в 1861 г. первым королем Италии. Еще более ярким образом с 1860-х националистическую повестку от немецких либералов перенимает прусское правительство во главе с Отто фон Бисмарком, сначала приняв унаследованный от Франкфуртского сейма конфликт с Данией из-за статуса Шлезвиг-Гольштейна (после войны 1864 г. герцогство перейдет под власть Пруссии), затем в войне 1866 г. разгромив основного соперника в борьбе за преобладание в Германии — Австрию,

и в 1871 г., после победоносной войны с Францией, закончившей со второй Наполеоновской империей, присоединив Эльзас и Лотарингию, составлявшие предмет немецких сетований на французскую экспансию на протяжении десятилетий, провозглашает Германскую империю.

Десятилетия, последовавшие за революцией 1848 г., определили выбор целого ряда европейских монархических режимов — они продемонстрировали, что националистическая повестка может быть перехвачена, как показал отчасти Наполеон III и как вполне продемонстрировал Бисмарк, у либералов: авторитарные режимы не только могут не противостоять ей, но и находить в национализме ресурс, обеспечивающий им прочность. Изменения, претерпленные националистическими движениями за эти десятилетия, привели к тому, что теперь национализм оказывался способен предстать частью консервативной идеологии.

Важную роль на пути формирования консервативных сценариев национализма сыграло немецкое национальное движение времен наполеоновских войн — направленное против внешнего противника, оно конституировалось вокруг его образа как врага и одновременно сплачивалось вокруг существующих режимов как существующей политической рамки, позволяющей консолидироваться. Конец наполеоновских войн и наступление многолетнего мирного периода для большей части Европы означал во многом разрыв данного союза, заключенного существующими режимами с националистическими силами, — однако разрыв не был окончательным, одновременно продемонстрировав другие варианты национализма по сравнению с французским образцом — вокруг общего исторического прошлого, «натурализации» политической общности, что позволяло одновременно

предписывать национальное членство (т. е. включать и исключать тех или иных индивидов из национальной общности в силу самой их «природы», «происхождения») и в то же время ослабляло значение гражданской проблематики. Династии теперь получили ресурс легитимации в качестве «своих», национальных — однако это же означало, что теперь им надлежит демонстрировать свою национальную принадлежность: вплоть до середины XIX в. данный дрейф носил довольно неочевидный характер — национализм представлял явную опасность и в то же время не выглядел непреодолимым. С 1850-х национальный поворот становится повсеместным — достигая апогея в символической смене официального наименования правящей британской династии в 1914 г. с Ганноверской на Виндзоров, в то время как в России правящая династия, еще ранее усвоив имя Романовых, переименовывает столицу из Санкт-Петербурга в Петроград. К началу мировой войны, несмотря на то что аристократическое общество стало, если судить по семейно-родственным узам и распределению времени между странами, более космополитичным, чем столетие назад, публично в каждой из стран оно демонстрировало собственную национальную принадлежность — претендуя на то, чтобы быть лидерами данного национального сообщества, а это предполагало предъявляемую вовне публичную идентичность.

Социализм, в качестве последней по времени из большой тройки идеологий XIX столетия, в отношении национализма представляет и наибольшие сложности. Для первой половины XIX в., в особенности для ситуации до начала 1830-х, между либерализмом и будущим социализмом нет четкой границы — понятие «радикалов» объединяет и либералов, склонных к решительным действи-

ям по преобразованию политического порядка, и тех, кто мыслит это преобразование связанным с решением социальных проблем. Будущий социализм в это время одновременно довольно заметно представлен и в целом ряде консервативных направлений мысли — как апелляция к иному, более справедливому порядку, чем утверждаемый индивидуализм, ссылка на «справедливую цену» или на общинные или цеховые формы социальной защиты могут быть прочитаны и как консервативные, и как способ найти для новых требований основание в прошлом, т. е. обосновать их реалистичность — выведя из разряда пустых мечтаний.

Июльская революция 1830 г. привела в течение нескольких ближайших лет к выделению социалистов из общего числа радикалов — события 1848 г. явили социализм, ставший значительной политической силой. Вплоть до последней трети XIX в. для социалистов национализм выступал либо на уровне «культурного национализма», т. е. существующих культурных различий между народами, по возможности не долженствующими иметь политического значения, обусловливающего чисто техническое разграничение, по условиям удобства коммуникации на родном языке, общих привычек и т. п., либо как привнесенное, ложное сознание — попытка отвлечь от подлинного содержания конфликтов, раздирающих современный мир, — между богатыми и бедными, капиталистами и пролетариатом, заставив тех, чей интерес принципиально един, видеть друг в друге врагов. «У пролетариата нет отечества» — так формулировал марксизм социалистический постулат и в целом для социалистического движения эту формулировку следует признать общей, если понимать под «отечеством» территориальную политическую общность.

Однако в последней трети XIX в. ситуация стала меняться — это относится в первую очередь к социалистическим движениям, появившимся в восточной части Европы. Для них, таких как, например, украинское, речь шла об аграрном социализме, что было связано с двумя обстоятельствами:

— во-первых, в восточноевропейских обществах сословное, классовое и этноконфессиональное разделение накладывались друг на друга: так, например, в Восточной Галиции городское население состояло во многом из евреев (торговцев и ремесленников) и немцев (чиновников), земельными собственниками преимущественно были поляки, тогда как крестьянство состояло в основном из русинов. Тем самым социальное движение практически автоматически укладывалось в этнические рамки — выступать за крестьян одновременно означало выступать за русинов, агитировать против ростовщиков означало выступать против евреев, так что антисемитские лозунги вполне могли прочитываться как социалистические, а социалистическая аграрная пропаганда могла одновременно быть пропагандой против польской власти;

— во-вторых, в этой ситуации национальное движение выступало как «национализм плебейских наций», т. е. лишенных полной социальной структуры — тем самым обычное для западноевропейских социалистических движений уклонение от национальной проблематики теряло свой смысл: для немецких или итальянских социалистов выступать от лица национальности значило бы утверждать, что социальные вопросы не являются первостепенными, они подчинены более значимым, общим для всех классов общества проблемам — для украинских социалистов, напротив, эти тезисы оказывались в единстве — отстаивать национальную проблематику одновре-

менно означало выступить против существующего социального неравенства.

Тем самым к началу XX в. на европейской периферии складываются новые разновидности социализма, который в этих случаях оказывается воспринимающим национальную проблематику, — Драгоманов, один из основных деятелей украинского национализма, в последние десятилетия XIX в. сформулирует принцип социалистического отношения к национальному вопросу, который окажется в дальнейшем воспринят большевиками: «национальное по форме, социалистическое по содержанию».

ЛЕКЦИЯ 2.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX В.: ИМПЕРСКАЯ СИТУАЦИЯ, ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС И РАННИЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ

Имперская история России традиционно начинается с 1550-х гг., когда великое княжество Московское, сумевшее за предшествующее столетие поставить под свой плотный контроль не только северо-восточные и северо-западные русские княжества, но и часть территорий, ранее, в период экспансии Великого княжества Литовского, признавших сюзеренитет последнего, теперь перешло к активной завоевательной политике в отношении обломков Золотой Орды, на протяжении одного десятилетия присоединив Казанское и Астраханское ханства — и с 1580-х начав экспансию в направлении Сибири. Эти события радикально изменили политический характер Московского царства (принятие царского титула и коронация Ивана IV стали символическим водоразделом — причем характер акта до сих пор вызывает споры по поводу того, в какой мере он был выражением идеи «православного царя», главы христианского царства — статус, вакантный после взятия Константинополя Мехмедом II Фатихом в 1453 г. и последующей ликвидацией последних остатков «Ромейской державы», а в какой отражал символическое преемство золотоордынским ханам-царям, т. е. претензию на господство над их былыми владениями). До это-

го времени великое княжество Московское было относительно компактным политическим образованием, подавляющее большинство подданных которого принадлежали к одной и той же конфессии (исповедуя восточное православие) и к одной и той же этнокультурной общности — теперь под власть Московского государя подпали многочисленные новые подданные, исповедующие другие религии, ориентированные на иные культурные образцы и т. п.

Однако если имперскую историю вполне логично вести с середины XVI столетия, то уже внутри нее происходит качественная перемена — изменение имперского типа политического объединения, приходящееся на середину XVII столетия. До этого времени тип имперского управления предполагал сохранение у завоеванных и покоренных народов лишь низового самоуправления, остающегося традиционным — в тех случаях, когда Московское царство ставило население под свой прямой контроль, т. е. переходило от отношений вассалитета к непосредственному подчинению, местные элитные группы либо непосредственно истреблялись (как в случае Казанского ханства), либо переселялись, отселялись в чуждую им среду — для инкорпорирования в правящие слои Московского царства их представителям необходима была перемена веры, т. е. они включались не в групповом, а в индивидуальном статусе.

События середины XVII в. — казачья война, начавшаяся под предводительством Богдана Хмельницкого, глубокий политический кризис Речи Посполитой — привели к тому, что для Московского царства представилась возможность радикальной территориальной экспансии в западном направлении: в политическом плане обсуждались сценарии присоединения «Малой и Белой Руси» (соответствующие наименования тогда входят в царский

титул), возможность принятия престола Речи Посполитой и т. п. — все эти перспективы открываются после Переяславской рады, когда Малороссия (в лице казацкой старшины) присягает Московскому царю — и Московское царство вступает в войну с Речью Посполитой (1652). Принципиальная новизна ситуации заключалась в том, что теперь в состав Московского царства — независимо от того, как толковать Переяславскую раду и характер данной тогда присяги, — вошла большая политическая общность в своем собственном качестве, т. е. сохранив свой особый корпоративный статус, порядок управления и т. п. Местные элиты были инкорпорированы в состав Московского царства как группа, а не индивидуальным образом — соответственно, в дальнейшем выступая в сношениях с центральным правительством от лица сообщества.

Экспансия — всегда вопрос не абсолютной мощи, а соотношения сил. Во второй половине XVII в. баланс сил принципиально меняется в Восточной Европе — Речь Посполитая, ранее бывшая ведущей региональной державой, оказывается неспособной дать эффективное решение того комплекса проблем, с которым она столкнулась к середине XVII столетия. В результате временное преобладание за счет предельной мобилизации ресурсов получает Швеция, упрочивающая свое положение в Северной Европе с конца XVI столетия, — но в долгосрочной перспективе восполняет недостаток власти в регионе Московское царство, с 1721 г. становящееся Российской империей.

XVIII столетие представляет время практически непрерывной и преимущественно успешной территориальной экспансии Российской империи в ситуации ослабления основных региональных конкурирующих держав — о быстром упадке Речи Посполитой, с начала

столетия подпадающей под все более плотный контроль со стороны Российской империи, речь уже шла выше, Северная война 1700–1721 гг. приводит к исключению Швеции из числа великих держав, с начала века в глубоко и затяжном кризисе оказывается Османская империя. Политика Российской империи в это время отчасти выглядит даже опережающей текущее положение вещей — решение вступить в конфликт с Османской империей, находясь в противоборстве со Швецией, и попытаться мобилизовать в свою пользу балканских единоверцев, приводит в 1711 г. к Прутскому миру, на десятилетия приостановившему южную экспансию империи и лишившему ее достигнутого влияния в Дунайских княжествах. Однако отдельные поражения и утраты не должны затемнять общего направления развития событий — на фоне упадка конкурирующих держав, более (Речь Посполитая) или менее (Османская империя) глубокого, Российская империя менее чем за полтора века, с 1652 по 1795 г., становится обладательницей всей Восточно-Европейской равнины, оказывающей все возрастающее влияние как на общеевропейскую политику, со времен Семилетней войны входя в «европейский концерт», так и демонстрируя масштабные, хоть и довольно неопределенные планы в отношении европейских владений Турции. Одновременно развивается экспансия по иным направлениям — достаточно ограниченная на протяжении XVIII в. кавказская политика империи приобретает решительное ускорение после принятия в 1801 г. присяги на подданство со стороны местных грузинских властителей: в ходе военных кампаний первых трех десятилетий XIX в. против Турции и Персии империя ставит под свою власть значительную часть Закавказья, что открывает начавшийся параллельно процесс постановки под контроль северо-кавказских владений,

в первую очередь прикаспийских, а затем и причерноморских.

В географическом плане пик имперской экспансии придется на достаточно поздние годы — 1867 г., когда одновременно с отказом от единственной заокеанской колонии (Русской Америки, созданной по модели аналогичных колониальных предприятий конца XVIII столетия) произойдет покорение Туркестана. Но между имперской экспансией XVIII в. и территориальным расширением на протяжении большей части XIX столетия будет наличествовать существенное различие: в отличие от территорий, присоединенных в XVI — 1-й половине XVII в., и территорий, ставших объектом имперской экспансии во 2-й половине XIX столетия, основные имперские приобретения со 2-й половины XVII до первых десятилетий XIX в. были регионами, чей экономический, политический, социальный и культурный уровень был выше, чем у имперского ядра, — такая имперская периферия, как Малороссия (1681) или Остзейские губернии (присоединенные в 1721 г., герцогство Курляндия отошло к империи в 1795 г., по третьему разделу Речи Посполитой), во многом превосходили великорусские губернии — и, что особенно важно, обладали особым юридическим статусом. Перемена имперской политики, вызванная присоединением Малороссии, начавшимся в 1652 г., повлекла долговременные последствия — империя во многом договаривалась со своими новыми подданными (т. е. с той их частью, что обладала политическим весом и влиянием), успешное расширение империи было связано с тем, что она не только, а зачастую и не столько угрожала неповиновшимся, сколько тем, что предоставляла привлекательные новые возможности или сохранение прежне-

го, находившегося под угрозой, положения под своей властью.

Имперская политика выработала на протяжении 2-й половины XVII–XVIII вв. целый набор инструментов по инкорпорированию имперских территорий — в каждом конкретном случае статус менялся последовательно и постепенно; так, например, уже в первые десятилетия XVIII в. центральное правительство взяло в свои руки все финансовое управление на территории Гетманата (той части Малороссии, что вошла в состав Московского царства по Андрусовскому перемирию 1667 г.), территории, присоединенные после первого раздела Речи Посполитой, были в кратчайшие сроки включены в общую систему губернского управления — в целом для правления Екатерины II (п. 1762–1796) характерна настойчивая политика административной унификации, распространившаяся и на остзейские губернии (данные меры были отменены сразу же по вступлении на престол Павла I (п. 1796–1801), подтвердившего привилегии дворянства местных губерний, т. е. особый порядок их управления и местных прав). Остзейские губернии представляли вообще особый — и вместе с тем вполне стандартный для поликонфессиональных империй — случай: местное дворянство обладало широкими правами в пределах своих губерний, будучи необходимой группой в системе имперского управления. Если украинская казацкая старшина, имея низкий культурный барьер на пути включения в имперскую администрацию, использовала преимущества образования и местные корпоративные связи (образуя, например, «землячества») на пути продвижения по службе, то для остзейского дворянства преимуществом становилось совершенно иное — будучи меньшинством, погружен-

ным в инокультурную и иноверную среду, оно было связано узами лояльности с правительством и с династией, тем самым представляя в высшей степени ценный инструмент управления.

Особое значение для имперской истории XIX столетия имело включение в состав Российской империи Царства Польского по результатам Венского конгресса (1815): в этом статусе под власть российского императора отошла большая часть бывшего Великого герцогства Варшавского (1807). Польша на целое столетие стала «большим местом» имперской политики — суть проблемы состояла в невозможности ни вполне включить Царство Польское в имперское пространство, превратить ее жителей в лояльных подданных империи, ни избавиться от данного приобретения. Препятствием на пути к полноценному включению стало сочетание целого ряда факторов:

— во-первых, новые элитные группы были слишком многочисленными и одновременно обладающими сознанием своей идентичности и солидарности, чтобы быть в основном своем составе включенными в общеимперские, — в отличие от дворян эстляндской или лифляндской губерний, речь шла о цифрах, сопоставимых с численностью всего остального дворянства Российской империи, особенно если присоединить к этому числу дворян губерний, присоединенных к империи по трем первым разделам Речи Посполитой и осознававших себя как часть польской шляхты;

— во-вторых, в это же время имперская экспансия подходит к своему относительному завершению — империя выходит на западе на стабильные границы (они просуществуют вплоть до 1914 г.), в отношении европейских владений Османской империи продвижение практически приостанавливается (более того, по результа-

там Крымской войны в 1856 г. на Парижском конгрессе Российская империя будет вынуждена поступиться частью Бессарабии, которую вернет по результатам войны 1877–1878 гг.) — новые приобретения не дают столь существенного расширения возможностей, не предоставляют новых ресурсов в таком объеме, чтобы общеимперская элита была готова легко делиться возросшими благами с новыми членами, а для последних предоставляемые возможности не представляются столь соблазнительными, чтобы вызвать радикальное изменение позиции;

— в-третьих, польское общество, мобилизованное в последние годы существования Речи Посполитой, к началу XIX в. успело выработать достаточно развитое национальное самосознание — иными словами, перед Российской империей в данном случае впервые возникал вопрос взаимодействия не с прежними местными элитами, в сообществах, построенных по этноконфессиональному и сословному принципам, а с национальным сообществом, успевшим выработать вполне действенные механизмы воспроизводства. События 1812 г. предсказуемо показали низкую лояльность польской шляхты губерний, отошедших к Российской империи по разделам Речи Посполитой 1773, а в особенности 1792 и 1795 гг. — со стороны имперского правительства столь же предсказуемо был взят курс на примирение, объявлена общая амнистия, однако со стороны российского дворянства подобные действия вызывали по меньшей мере недовольство: его лояльность оказывалась тем, что не требовалось покупать или во всяком случае что казалось оплаченным недостаточным образом, а проявление нелояльности новых подданных предавалось забвению.

Со стороны Российской империи многие из этих проблем в том или ином ракурсе вполне осознавались —

так, лояльность польской знати, а через нее местной шляхты, обеспечивалась комплексом мер как репрессивных, так и поощрительных. Достаточно напомнить, что кн. Адам Чарторыйский (1771–1860), друг юности и будущий министр иностранных дел Александра I (п. 1801–1825), оказался при дворе его бабушки, императрицы Екатерины II, в качестве фактически почетного заложника, отвечавшего за лояльность своего отца, владения которого первоначально были конфискованы из-за сопротивления империи — и затем частично возвращены. Лояльная знать получала возможность контролировать местные дворянские собрания, получала доступ к двору, возможность занятия имперских должностей — политика компромисса с польскими элитами хорошо заметна на примере Виленского учебного округа, который в 1804 г. возглавил тот же кн. Чарторыйский и в границах которого польские интеллектуалы получили возможность (как в согласии с князем Адамом, так и в противостоянии ему) проводить целый ряд мер, задуманных еще в последние годы Речи Посполитой и нацеленных на создание польской образовательной системы — ее альтернативными центрами в пределах губерний, присоединенных к империи в 1792 и 1795 гг., стали Виленский университет и Каменец-Подольский лицей.

Поскольку польский национальный проект был, как и любой другой национальный проект, нацелен на создание независимого государства или по крайней мере максимально возможное приближение к этому идеалу, то до тех пор, пока Российская империя и правящий государь рассматривались как акторы, способные в наибольшей степени содействовать продвижению в этом направлении, до тех пор ориентация на Россию и лояльность ей была логична — ситуацию изменило образование в 1807 г. Великого герцогства Варшавского: с этого

момента польские надежды оказались связаны с Наполеоном и его имперским проектом. Крушение наполеоновской империи в 1812–1815 гг. и переход большей части Великого герцогства под власть Российской империи вызвало новую перемену ситуации:

— прежде всего, теперь, в отличие от ситуации до 1807 г., именно под властью России оказалась большая часть «ядра» польской национальной территории, в частности Варшава (вплоть до 1846 г. вторая столица старого Польского королевства, Краков, имела статус вольного города, находившегося под совместным протекторатом Российской и Австрийской империй и королевства Пруссия), что, отметим попутно, делало Российскую империю, в зависимости от направления ее политики, либо основным союзником польского национального движения, дающего возможность «дособрать» польскую территорию, либо основным противником;

— эта же ситуация резко усиливала польское национальное движение в «кресах»: теперь разделение Польши воспроизводилось в границах самой Российской империи — в разделении на земли Царства Польского, с самоуправлением, собственной финансовой и образовательной системой, конституцией и армией, и на земли «губерний, от Польши присоединенных», управлявшихся по общему с внутрироссийскими губерниями положениям и подчиненным общеимперской администрации.

Политика Александра I последнего десятилетия его царствования, как она реконструируется в работах С. В. Мироненко, представляет собой попытку кардинального переустройства империи в свете новых проблем, в стремлении дать на них конструктивный и оригинальный ответ. Прежде всего, дарование конституции Царству Польскому (конституционный характер правления был зафиксирован по настоянию российской сто-

роны (!) в заключительном акте Венского конгресса 1815 г.) было одним из шагов на пути преобразования устройства Российской империи. Публикация русского перевода речи императора в 1818 г. на открытии сейма, вызвавшая большое недовольство со стороны императора и обусловившая отставку инициатора публикации, С. С. Уварова (1786–1855), на тот момент попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, провозглашала конституционные права и свободы подданных и признание конституционного устройства желательным и желаемым порядком. Недовольство публикацией русского текста было связано, по всей вероятности, с тем, что столь быстрое оповещение остальных подданных о намерениях императора не входило в его планы — если угодно, Александр I существовал в условиях (или, точнее, в представлениях) гораздо более ранней информационной политики, полагая себя способным дозировать поступающую к разным имперским кругам и сообществам информацию. Одновременно с варшавской речью под руководством Н. Н. Новосильцева (1761–1838), одного из ближайших доверенных лиц императора еще с первых лет его правления, а в это время представителя государя при совете, управляющем Царством Польским, ведется работа над проектом Уставной грамоты Российской империи. Империю планируется разделить на десять наместничеств — областей, с представительными органами в каждой из них, в целом выстроенных схожим с Царством Польским образом: проект на долгое время сохраняет свою актуальность. Его частью выступает назначение А. Д. Балашова (1770–1737), другого доверенного лица императора, Рязанским наместником, с передачей в наместничество целого ряда губерний. Данная мера вызывала недоумение как у современников, так и у целого ряда последующих исследователей, выглядя

административно нецелесообразной — однако рассмотренная в рамках планов по преобразованию империи она представляется пробным шагом на пути изменения административного устройства, в связи с чем Балашову предписывается представлять различные соображения по устройству управления, опытным путем устанавливая пригодные для подобной административной единицы порядки.

В том же русле находится и конфессиональная политика императора — Священный Союз и надконфессиональное христианство предстают попытками выработать новую имперскую идеологию — примечательно, что с точки зрения императора речь идет не о вне-, а именно о надконфессиональном понимании христианства: активизация католической пропаганды в империи, в первую очередь в столице, связанная с деятельностью Ордена Иисуса и влиятельного савойского посланника графа Жозефа де Местра (1753–1821), вызывает решительное противодействие — граф оказывается вынужден покинуть империю, деятельность ордена прекращается сначала в столице, а затем следует общее запрещение ордена в границах империи. Иначе говоря, каждый подданный должен сохранять свой конфессиональный статус — прозелитизм равно не приветствуется со стороны какой-либо конфессии (не исключая, отметим попутно, и православия — в отношении иных христианских вероисповеданий), но Российская империя в целом предстает как «христианское царство», равно включающее и православных, и католиков, и протестантов (символичным здесь оказывается совмещение в одних руках поста обер-прокурора и главноуправляющего иностранными исповеданиями).

Масштабно задуманный проект Александра I не случайно приходится реконструировать по деталям — он никогда не был проговорен и обсужден в целом, что са-

мо по себе говорит о проблемах в его реализации: столь радикальное преобразование наталкивалось на ключевое затруднение — он мало для кого был способен стать привлекателен в целом, вместе с тем нарушая интересы едва ли не всех — начиная с польских националистов и вплоть до русских дворян, с православной церкви и вплоть до центральной администрации. Единая логика, в которой отмена крепостного права (начавшаяся с остзейских губерний), военные поселения и введение представительных органов власти, надконфессиональное библейское общество и опыты новой имперской идеологии, одновременно направленной против «духа Просвещения», — все это в целом должно было породить новое устройство, — наталкивалась на то, что она должна была действовать не только вне «общества», на тот момент еще не существующего за пределами «салона», «светского общества», но и во многом вопреки центральной администрации, на тот момент еще не существующей как профессиональная бюрократическая система.

Как бы то ни было, столь масштабный и радикально отличный как от предшествующего, так и от последующего опыта Российской империи, проект был во многом свернут еще до конца царствования Александра I. Последующая имперская политика двинулась более предсказуемым путем — рационализации имперского управления, становления профессиональной бюрократии, унификации имперских порядков, т. е. гомогенизации, с одновременной и связанной с ней национализацией империи — в стремлении укрепить существующее имперское целое, задействуя новый ресурс и новую систему образов, которая становилась универсальной в своем утверждении частного, национального.

* * *

Задолго до начала XIX в. встречается и критика петровских реформ, и сомнение в целесообразности западных заимствований — осуждение новых нравов и превознесение старины можно найти у столь разных авторов, как кн. М. М. Щербатов (1733–1790) и Н. И. Новиков (1744–1818), равно как сама императрица Екатерина II, склонная к литературным занятиям и использующая театр и печать как инструменты воздействия на общество, обращается к русскому прошлому. Однако целесообразно разграничивать охранительные и протоконсервативные воззрения от консерватизма как целостной идеологии, равно как различные обращения к проблематике, которая созвучна последующему языку образов и понятий национализма, от собственно национализма. Говоря о национализме, напомним: речь идет о политическом сообществе — и функция национализма заключается в мобилизации сообщества, выходящего за пределы традиционных форм солидарности. В этом плане разные общественные слои исторически в разное время оказываются причастны национализму — так, парижский или бордосский буржуа осознают себя «французами», в то время как крестьянин из деревни с отрогов Пиреней осознает себя «здешним», «тутошним»: применительно к России еще в 1920-х именно подобным образом, ограничивая свою идентичность в лучшем случае пределами губернии, т. е. противопоставлением соседям («орловские», «тамбовские») отвечали крестьяне, мыслившие себя за пределами национальных категорий.

Поскольку национализм — это идеология сообщества, обеспечивающая его солидарность (некто заслу-

живает поддержки, усилий с моей стороны, потому что является «тоже русским», как и я), то понятно, что его значение возрастает в периоды кризисов и конфликтов, когда под угрозой оказывается сообщество, претендующее на национальный статус, опознающееся в качестве такового, — обратим внимание на диалектичность данного процесса: сообщество не только «опознается» в подобной ситуации, но и возникает, поскольку оно существует только через взаимное опознание и признание в качестве своего. Поэтому национальная история и история национализмов включает как «общие события», выделяемые в прошлом — определяемые в качестве общего прошлого, значимого для каждого члена данного национального сообщества (причем в этом статусе они претерпевают переконструирование с возникновением национализма — так, в рамках национальной памяти, статус Донской битвы существенно отличается от того, как она понималась, например, в XVII столетии*), так и, что особенно значимо, совместный опыт, ключевое событие, которое является преобразующим, формирующим национальный опыт, — причем в данном случае важно, что этот опыт осмысливается как общий, совместно пережитый: принадлежность к нему (в плане как действительного действия, так и разделения общего образного ряда) становится одним из критериев принадлежности к нации**.

* Исторические символы могут возникать и не имея достоверных оснований в реальности — так, например, ставшая хрестоматийной и растиражированной как символ французской монархии фраза Генриха IV, желавшего видеть курицу в супе на столе у каждого француза, впервые встречается только в середине XVII столетия, несколько десятилетий спустя после гибели короля.

** Важно попутно отметить, что набор образов и ключевых понятий, описывающих этот «общий опыт», складывается некоторое время спустя — между самим событием и его конвенциональной системой описания всегда существует зазор, — и в плане принад-

В истории русского национализма, как и для немецкого (при всех различиях между ними), подобным решающим, мобилизующим событием стали наполеоновские войны, в первую очередь война 1812 г. — однако уже череда предшествующих революционных событий, а вслед за этим коалиционных войн существенно изменили интеллектуальный ландшафт. Французская революция, как отмечалось ранее, ввела новое понятие «нации» как «политического народа», тогда как наполеоновские войны, особенно серия поражений, понесенных Российской империей в 1805–1807 гг., завершившихся по итогам Тильзитского мира (1807) вхождением в орбиту Наполеоновской империи, стали серьезным потрясением для правящих и интеллектуальных (в это время во многом пересекавшихся) кругов России.

Одной из реакций на происшедшее стало обращение к ранним формам национальной идеологии — как средства общественного сплочения и одновременно ответа на вопрос о причинах понесенных поражений. В числе заметных в данном отношении фигур необходимо упомянуть гр. Ф. В. Ростопчина (1763–1826) и С. Н. Глинку (1775–1847) — оба они примечательны в том плане, что их на-

лежности, включенности зачастую принятие системы описания может оказаться важнее участия в самом событии (последнее вполне заменяется символическим, а принципиальное неприятие языка описания или утверждение альтернативного образа, если оно окажется безуспешным, способно привести к исключению).

Примером «символической причастности» может служить начало «Былого и дум» Герцена, где автор демонстрирует свою принадлежность к одному из наиболее символически важных событий русской истории — вступления в Москву наполеоновской армии и пожара Москвы, через рассказ ему ребенком и свое участие во младенчестве — Герцен от рождения оказывается причастен Москве, мировой истории, истории России, причастен до того, как станет сознать самого себя, т. е. его жизнь исторична и национальна с самого начала.

ционализм носил ситуативный и чисто интеллектуальный характер. Глинка, издатель «Русского Вестника», известный своей ультрапатриотической риторикой, воспевал героев русской старины, рисуя их по античным образцам — единственным ему знакомым. Уязвленная национальная гордость спасалась тем, что утверждала собственное прошлое не менее значимым, чем наивысшие известные образцы: последние просто переименовывались. В другом случае, к примеру, Глинка писал:

«Уже в эпоху Рюрика и первых варяжских князей ни одна европейская страна своими моральными и политическими устоями не возвышалась над Россией, и, несмотря на бедственные последствия татарского ига, древняя Русь до правления и реформ Алексея I и Петра Великого наверняка ничем не уступала Западу — ни политическими институтами, ни законодательством, ни чистотой нравов, ни укладом семейным; вообще она имела все, что требуется для счастья народа. Добродетели Марка Аврелия были добродетелями князей наших... Философский дух был широко распространен... и предки наши не уступали Сократу... Идеи Морозова о человеческой природе сродни идеям Локка и Кондийака... Зотов уже пользовался современными педагогическими методами раньше Песталлоци и Кондийака».

Старина оказывалась и тем временем, когда «предки наши не уступали Сократу» и Локку, и вместе с тем было той эпохой, «когда предки наши, живя в страхе перед Господом и сохраняя еще простоту нравов, все свои моральные представления черпали у праотцов и в священных книгах и не предавались спорам о бесконечном прогрессе познания и человеческого разума, а просто стремились выполнить свой долг людей, граждан и христиан». Иногда героям русской старины находились совсем оригиналь-

ные уподобления — так, Ермак оказывался лишь новым Сципионом Африканским. В других случаях, напротив, современные события соотносились Глинкой с русским прошлым — например, «Александр I, учреждая повсюду школы, всего лишь подражал своему далекому предшественнику Ярославу, который с 1131 года мог служить ему в том примером и сделал Россию самой просвещенной страной своего времени».

Значимым здесь было то, что за всем этим потоком уподоблений, когда довольно забавных, а когда оставляющих в недоумении, содержалось утверждение тех добродетелей, которые надлежало отыскать в прошлом — и которые Глинка уверенно там помещал, настаивая на соответствии древности русской древности классической, а именно «святую любовь к отечеству», «добродетели республиканские». В объявлении «Русского Вестника» он писал:

«В сих листах найдут многие статьи о древних временах России. Беседа с праотцами, беседа с героями и друзьями отечества питает душу и, сближая прошедшее с настоящим, умножает бытие наше. Настоящее объясняется прошедшим, будущее настоящим. [...] Пример добродетелей и нравов праотческих заключается в древних преданиях; в них означено то *особое воспитание*, о котором говорят известнейшие наши писатели».

Ополчаясь на французов, на французскую культуру, на театр и литературу, Глинка с первыми попавшимися образами русского прошлого, заимствованного из бегло прочитанных обзоров (он сам признавался, что, взявшись за дело, совершенно не был знаком с русским прошлым), утверждал тот гражданский идеал, который несла революционная эпоха, — если угодно, он был слишком глубоко

ко проникнут идеалами своего времени, чтобы удовлетвориться простым поклонением французскому, напротив, именно поэтому он желал сделать их своими.

Сам Глинка отдавал первенство Ростопчину, в «Записках» сообщая, «что граф первый, еще в 1807 году, своими „Мыслями вслух на красном крыльце“, вступил, так сказать, в родственное сношение с мыслями всех людей русских». Однако сходство Глинки и Ростопчина было едва ли более существенным, чем различие между ними — если для первого основным был гражданский пафос, то для Ростопчина речь шла о возможности заговорить с «простым народом» на его языке. Оценки и современников, и потомков о языке ростопчинских брошюр и афишек, которые он издавал в 1812 г. в бытность его московским генерал-губернатором, расходятся — в любом случае, они поражали своей необычностью, когда высокое правительство заговорило с народом не языком официальных распоряжений и не языком церковной проповеди, но само делая шаг к сближению. Для Ростопчина, впрочем, это осталось эпизодом в его биографии — ни до 1807, ни после 1812 г. он никак не демонстрировал своей близости к национальным настроениям, не говоря уже о глубоких национальных воззрениях. Собственно, содержание того, что можно назвать «национальными воззрениями» Ростопчина, оказывается крайне бедно, сводясь к пробуждению патриотических чувств в стилистике, которая позднее, с 1840-х гг., получит название «шовинизма», и к ксенофобии.

Два других персонажа — А. С. Шишков (1754–1841) и Н. М. Карамзин (1766–1826) — напротив, по самому существу своей деятельности и интеллектуальных интересов принадлежат к истории русского национализма. Шишков, приобретший известность своим «Рассуждением о старом и новом слоге», направленном про-

тив новых литературных веяний, в первую очередь против Карамзина и карамзинистов, достаточно быстро эволюционировал в сторону собственно национальной проблематики. Уже в «Рассуждении...» вопрос о языке ставится в плоскости отчуждения высших слоев от остального народа:

«Какое знание можем мы иметь в природном языке своем, когда дети знатнейших бояр наших от самых юных ногтей своих находятся в руках у французов, прилепляются к их нравам, научаются презирать свои обычаи, нечувствительно получают весь образ мыслей их и понятий, говорят языком их свободнее, нежели своим и даже до того заражаются к ним пристрастием, что не токмо не стыдятся не знать того, но еще многие из них сим постыднейшим из всех невежеством, как бы некоторым украшающим их достоинством, хвастают и величаются»*.

Шишков демонстрировал и созвучный романтизму интерес к народной поэзии — так, говоря об источниках, на которых надобно учиться родному языку, он включал в их число русские песни. В «Разговорах о словесности» он отмечал: «Народный язык, очищенный несколько от своей грубости, возобновленный и приноровленный к нынешней нашей словесности, сблизил бы нас с тою приятною невинностью, с теми естественными чувствами, от которых мы, удаляясь, делаемся более жеманными говорунами, нежели истинно красноречивыми писа-

* Денис Давыдов (1784–1839), формулируя прагматически сходный опыт, отмечал его значение в ходе действий своего партизанского отряда: «[...] я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но принаравливаясь к ней и в обычаях, и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным».

телями». При этом сам Шишков отмечал эту эволюцию в своих воззрениях, отзываясь в письме к Бардовскому от 18.II.1811 г. при посылке «Разговоров...»: «сперва бранили меня за то, что защищаю славянский язык, а теперь станут бранить, что прославляю народный». Если первоначально деятельность его носила ограниченное значение, то по мере происходивших в Европе и империи событий приобретала все больший резонанс. Ф. Ф. Вигель (1786–1856) повествует в «Записках» о деятельности шишковской «Беседы любителей русского слова», основанной в 1811 г., пишет:

«Обстоятельства благоприятствовали ее учреждению. По вкоренившейся привычке, не переставали почитать запад наставником, образцом и кумиром своим, но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением. Люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, на котором уже читали они слово „отечество“. Пристрастие к Европе приметно стало слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, и на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами, оборотами, заимствованиями из иностранных языков, и что „Беседа“ составила единственно с целью возратить и сохранить ему чистоту и непорочность, и они все взялись быть главными ее поборниками... [...] Дамы и светские люди, которые во все ничего не понимали, не показывали, а может быть и не чувствовали скуки; они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг и делали сие с примерным самоотвержением. [...] Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества».

Высшей точкой общественного признания деятельности Шишкова стало назначение его на пост государственного секретаря, где он сменил Сперанского — ему выпало писать императорские манифесты в ходе войны 1812 г. и заграничного похода русской армии, о которых кн. П. А. Вяземский позднее говорил:

«Я помню, что во время оно мы смеялись над нелепостями его манифестов и ужасались их государственной неблагопристойности, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилением...»

Во взглядах Шишкова присутствуют уже идеи, которые в дальнейшем получат развитие в рамках «славянской взаимности» — так, он выступил с инициативой учреждения кафедр славяноведения при университетах, что будет реализовано уже в конце 1830-х в министерстве графа Уварова, налаживал связи с исследователями славянства в других странах, в частности со знаменитым Й. Добровским (1753–1829) в Праге. Еще более любопытен эпизод, относящийся к 1817 г., когда в рескрипте гр. А. И. Остерману-Толстому (1772–1857), получившему от чехов в дар кубок, Шишков называл дарителей «соплеменным нам храбрым народом» — император Александр вычеркнул этот оборот. Шишков счел правку носящей стилистический характер и заметил, что подобное выражение уместно, поскольку чехи «нашим наречием» говорят, на что император отвечал:

«Подозрительные немцы подумают, что мы, сближаясь с богемцами, сим родством имеем на них какие-нибудь виды».

В данном случае примечательно и то обстоятельство, что сам Шишков не видел политического содержания признания «одноплеменности», здесь пребывая еще

в пределах донационалистических представлений, и то, что для государя данный язык был вполне внятен — и о связанных с ним опасностях он уже имел понимание.

Став в 1813 г. президентом Российской Академии, Шишков постепенно сблизился с Карамзиным — противники в начале 1800-х, они с годами не стали единомышленниками, но обрели довольно много общего, что делало возможным компромисс — в результате Карамзин в 1818 г. не только был избран членом Академии, но и читал на ее заседаниях главы своей «Истории...», слог которой и многие идеи, в ней изложенные, находили сочувствие у президента собрания. Для Карамзина потрясения, вызванные Французской революцией, послужили и к созреванию консервативных настроений, и к обращению в сторону русской истории. Уже в 1802 г. в «Вестнике Европы» он писал:

«Революция объяснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих; что власть его есть для народов не тиранство, а защита от тиранства, что, разбивая сию благодетельную эгиду, народ делается жертвою ужасных бедствий, которые несравненно злее всех обыкновенных злоупотреблений власти [...], что учреждения древности имеют магическую силу, которая не может быть заменена никакою силою ума, что одно время и благая воля законных правительств должны исправить несовершенство гражданских обществ...»

В «Записке о древней и новой России» 1811 г., предполагавшей в качестве основного адресата государя, Карамзин так оценивал политику Петра:

«Страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могуще-

ство государств, подобное физическому, нужное для их твердости. [...] Искореня древние навыки, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в их собственном сердце».

Он отмечал: «Россия [...] существует около 1000 лет и не в образе дикой Орды, но в виде государства великого, а нам все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто бы мы недавно вышли из темных лесов американских! Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой. Если история справедливо осуждает Петра I за излишнюю страсть его к подражанию иноземным державам, то оно в наше время не будет ли еще страшнее?» Плодом его усилий объяснить и восславить прошлое стала «История...», появление первых восьми томов которой в 1818 г. явилось эпохальным событием, в том числе и в истории русского книгоиздания — весь первый тираж ее был распродан за месяц, так что автор затруднялся отыскать полный экземпляр, чтобы на исходе марта месяца отослать в Москву, своему помощнику в исторических изысканиях А. Ф. Малиновскому (1762–1840). Полемика, мало затронувшая печать, но интенсивно шедшая в образованном обществе, по поводу «Истории...» хорошо высвечивает новые идеи, успевшие оформиться менее чем за первые два десятилетия нового столетия. В прямое противопоставление словам Карамзина, завершившего посвящение своей «Истории...» Александру I утверждением — «История народа принадлежит Царю», Н. М. Муравьев (1795–1843), будущий автор конституционного проекта «Северного общества» декабристов, писал:

«История принадлежит народам. В ней находят они верное изображение своих добродетелей и пороков, начала могущества, причины благоденствия или бедствий».

Буквально те же слова в ответ Карамзину заносит в свой дневник 21.II.1818 г., т. е. сразу же после выхода в свет первых восьми томов «Истории...», другой будущий декабрист Н. И. Тургенев (1789–1871):

«История народа принадлежит народу — и никому более. Смешно дарить ею Царей. Добрые Цари никогда не отделяют себя от народа».

Более умерен его брат Сергей (1792–1827), записывающий уже в своем дневнике 4–13.III.1818 г. по прочтении 1-го тома «Истории...»: «Что значит: история народа принадлежит Государю, или Царю, как он говорит. Не позорно, но не ясно». Для Никиты Муравьева, вполне примыкающего к и воспроизводящего романтические воззрения, как политические, так и исторические, историческим субъектами являются не цари, но народы — а общий ход истории определяется не замыслами правителей, а сложным сочетанием сил и стремлений, непрозрачным и для самих участников происходящего:

«Страсти суть необходимые принадлежности человеческого рода и орудия промысла, не постижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к цели всего человечества? В нравственном, равно как и в физическом, мире согласие целого основано на борении частей».

И вместе с тем созерцание истории не должно приводить к примирению с несовершенствами существующего — как наставляет Карамзин, определяя в этом пользу для простого гражданина:

«Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного, но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нрав-

ственный сон квиетизма? В том ли состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять должно? Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом...»

Значительно позднее, уже около 1850 г., М. А. Фонвизин (1787–1854), продолжая споры более ранних лет, записывал для себя:

«Г-жа Сталь сказала где-то, что в жизни народов свободе во всех ее видах (политической, гражданской, личной) неоспоримо принадлежит законное право давно перед самовластием. Эта мысль гениальной писательницы верна относительно европейского человечества и подтверждается *древнею* и даже *среднею* историей России, которая только в новейшее время (с Петра Великого) сделалась *классическою почвою* самодержавия».

Н. Тургенев, сообщая своему брату из Петербурга 30.XI.1816 г. о начале печатания «Истории...» Карамзина, отмечал, что еще ничего из нее не читал, но «Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличивалась деспотизмом, что здесь называют самодержавием».

Показательно, что и Тургенев, и Фонвизин с промежутком почти в тридцать пять лет спорят с Карамзиным ровно об одном и том же — о логике русской истории, утверждая, что «самодержавие» или «деспотизм» никак не сквозная линия и тем более не цель, а лишь одно из исторических обстоятельств, к тому же достаточно позднее — примеры подобного правления можно легко найти в истории и других европейских народов, история же России должна указывать на иное — на начала свободы, ей присущие, быть героическим повествованием, как настаивал, например, М. Ф. Орлов (1788–1842).

Примечательно, что сам Карамзин разделял во многом эти взгляды — в период более ранний, на исходе XVIII и в начале XIX столетия. Так, в повести «Марфа Посадница», опубликованной в основанном и редактировавшемся им с 1802 г. журнале «Вестник Европы», Карамзин не только описывает (соединяя воедино два похода Ивана III на Новгород, в 1471 и 1477 гг., в одно событие) падение новгородской вольности, вкладывая в уста Марфе Посаднице следующую, например, реплику: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою Новгородскою!» (т. е. противопоставляя гражданство, республиканские принципы монархическому подданству), но и помещает эти события в параллель к мифологическому восстанию новгородца Вадима против Рюрика. Мраморный бюст Вадима украшает в описании Карамзина вечевую площадь в Новгороде — к памяти Рюрика обращаются посланцы московского великого князя, к Вадиму апеллирует Марфа, Рюрик выступает носителем самодержавных начал, но они оказываются не только исторически следующими за первоначальной вольностью, но и не неоспоримыми — ведь Вадим не только поднимает восстание против Рюрика, но и оказывается в изображении Карамзина прародителем Новгородской республики, тем самым демонстрируя по меньшей мере множественность, вариативность политических принципов, на которых может быть основано сообщество.

Полемизируя с Карамзиным 1810-х гг., Никита Муравьев фактически обращается к тем же тезисам, которые использовал Карамзин в начале 1800-х:

«Сравнивая историю российскую с древнею, историк наш говорит: „Толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дому — немного разности“.

Я нахожу некоторую разность. Там граждане сражались за власть, в которой они участвовали; здесь слуги дрались по прихотям господ своих».

И все-таки различие между взглядами Карамзина начала 1800-х и Муравьева исхода 1810-х существенно: для Карамзина речь идет об индивидуальных добродетелях, оттого и на исходе своей жизни он мог добросовестно заявлять, что является «республиканцем», — напротив, для Муравьева быть вполне «республиканцем», живя и действуя в самодержавной монархии, невозможно: республиканство есть добродетель гражданская, практикуемая только в совместной жизни — республиканец может примириться с самодержавием от отчаяния, принять последнюю как неизбежное, но не может прославлять последнее, т. е. нельзя быть республиканцем в частной жизни и подданным в жизни публичной, это противоречие.

Республиканские добродетели Карамзина вполне независимы от русского контекста — не случайно там, где он повествует о них на русском материале, как делает это в 1790-х — начале 1800-х, он свободен от истории, русские детали там исключительно условны, напротив, там, где он историчен — он защищает самодержавие как оправданную историей форму русской государственности, то, чем она создана и без чего распадается. Напротив, М. Ф. Орлов, как и Никита Муравьев, ищет поместить республиканские добродетели в саму плоть русской истории*, обращаясь к кн. П. А. Вязем-

* Как в дальнейшем, уже в 1840-х гг., М. И. Фонвизин будет устанавливать смысл русской истории, связывая с германской — т. е. с «началами свободы», отмечая, к примеру: «Предки наши славяне были, как и их соседи германцы, народ полудикий, но свободный, и в общественному быту славян преобладала стихия демократическая — общинная [...]».

скому (1792–1878), брату по отцу жены историографа (письмо от 4.V.1818):

«Я читал Карамзина. Первый том мне не пришелся по сердцу. Он сам в предисловии говорит, что пленительнейшая черта римских историков есть то, что на каждом шагу видим в них римских граждан во всей силе сего слова. Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?»

Еще более показателен отзыв Н. И. Тургенева — в отличие от М. Ф. Орлова, непосредственно ожидавшего от историка прославления гражданских добродетелей и славного прошлого России, истории ее ранних времен, соответствующих политическим желаниям читателя, готового пожертвовать фактологией ради идеологии, Тургенев сосредоточивается на идеологическом осмыслении событий, даваемом Карамзиным, — не возражая по поводу сути описываемого, он оспаривает оценки. В дневниковой записи от апреля 1818 г., по прочтении 6-го тома «Истории...», повествующей о царствовании Иоанна III, государя, наиболее близкого к идеальному образу правителя в глазах Карамзина-историографа, противопоставляющего его Петру I, Тургенев отмечает:

«Я вижу в царствовании Иоанна щастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов; с благоговением благодарю его как Государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу на долго, на долго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодер-

жавного правительства [...] вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский».

Декабристский круг понимает «нацию» как политическое сообщество, связанное с идеей представительства, — наиболее полно эти идеи отразятся в двух конституционных проектах, принадлежащих соответственно Никите Муравьеву и Павлу Пестелю (1793–1826). И тот и другой стремятся укоренить свое видение в истории — так, Муравьев, конструируя федеративное устройство (и здесь во многом сходясь с Александром I), которому соответствует двухпалатный парламент, именует его «Народным вечем», верхняя палата которого, представляющая области, должна была называться «Верховной Думой». Ориентируясь на американский опыт, области, на которые разделяется империя, Муравьев именуется «державами», выбирая прямой аналог *states*. Еще более показателен текст Пестеля, о котором А. И. Миллер пишет:

«В *Русской Правде* изложен наиболее радикальный и последовательный, выдержанный совершенно во „французском духе“ проект строительства нации в Российской империи. Он сочетает радикальные политические преобразования, включая уничтожение, в том числе буквальное, династии, и самую радикальную ассимиляторскую программу».

Критерии национальной принадлежности — в этой логике совпадающие с критериями гражданства, включают и у Пестеля, и у Муравьева языковой критерий. Согласно последнему, определяется двадцатилетний переходный период, по прошествии которого «никто не обучившийся русской грамоте не может быть признан

гражданином». Пестель, в свою очередь, поступает более радикально, но в той же логике, выделяя среди подданных России (1) «русских» и (2) «иностранцев», т. е. тех, кто присягал «прежним Властелинам над Россиею, но не Россию за свое отечество признали». Последние, дабы считаться «русскими», должны, во-первых, подтвердить свой выбор русского подданства (теперь уже России, а не династии) и, во-вторых, сделать выбор в пользу русского языка — либо же, отвергая культурную идентичность, теперь уже сделаться иностранцами в полном смысле слова. Ассимиляторская программа Пестеля лучше всего видна в параграфе 16 гл. 2 «Русской Правды», озаглавленном «Все племена должны быть слиты в один Народ»:

«Один Народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого пространства Российского Государства все были Русские [...]. Средства общие состоят главнейше в том, чтобы, во-первых, на целом пространстве Российского Государства господствовал один только язык российский: Все сношения тем самым чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мыслей сделаются однородные; Люди объясняющиеся на одном и том же языке теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ [...] все сии различные имена [племен] были уничтожены и везде в общее Название Русских во едино слиты. В третьих, чтоб одни и те же Законы, один и тот же образ Управления по всем частям России существовали и тем самым в Политическом и Гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид Единородства, Единообразия и Единомыслия. Опыты всех веков и всех Государств доказали что Народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и Законы под коими они живут».

Программа Пестеля, как отмечает А. И. Миллер, характеризуется крайним радикализмом — кажется, никто другой из декабристов, не говоря о последующих направлениях националистической мысли, не решался помыслить преобразование империи в одну нацию целиком — собственно, вариант, предлагаемый Муравьевым, федерация, является способом преодолеть имперскую неоднородность в рамках становления гражданского порядка без радикальной программы унификации и ассимиляции, представляющейся утопической и, закономерным образом, якобинской. Если угодно, лидеры Северного и Южного декабристского обществ разыграли в интеллектуальном плане противостояние жирондистов и якобинцев в спорах об устройстве Франции, что не удивительно — национализмы вообще строятся с оглядкой друг на друга, а для этого времени, как во многом и для последующих, именно французский образец был наиболее впечатляющим и успешным.

ЛЕКЦИЯ 3.

«ОФИЦИАЛЬНАЯ НАРОДНОСТЬ» И «БОЛЬШАЯ РУССКАЯ НАЦИЯ»

Народ без Историка творение недовершенное,
без самопознания.

М. П. Погодин. Исторические афоризмы. 1836

Выступление «декабристов» на исходе 1825 г. было одним из последних в волне пронунсиаменто, сотрясавших Европу и Латинскую Америку на исходе наполеоновских войн и в первые годы после их завершения — в ряду испанской и неаполитанской революций, греческого восстания в Османской империи и провозглашения независимости Греции, волнующего и впечатляющего опыта американских республик, пока еще не дошедших до стадии, способной разочаровать любого энтузиаста. Декабристское восстание стало важнейшей границей как в политической, так и в интеллектуальной истории Российской империи — оно определило смену поколений, гораздо более резкую и насильственную, чем та, которая определялась бы естественным ходом вещей. Александр Койре обращал внимание на «глубокие различия между представителями этих двух поколений. Они отражали противоположность умонастроений двух исторических эпох и — *last but not least* — двух столиц. (Немаловажно, в самом деле, что „философское“ движение родилось в Москве; [...] оно нигде более и не было возможно). Они не только ставили *разные проблемы*, но и *одни и те же проблемы*, такие, как отношения между Россией и Западом, они формулировали в разных

терминах и понимали в разном смысле. Два поколения разделяли всего лишь десять лет, но это были годы значительных событий, глубоких изменений в существовании и ориентации России; и духовная атмосфера, первые впечатления детства, отрочества и юности, формировавшие и определявшие умонастроения тех и других, были совершенно различными! Первые, старшие, рождались на закате правления Екатерины Великой; к их первым детским впечатлениям принадлежал террор царствования Павла I. Все они участвовали в либеральном движении в царствование Александра I; они участвовали в войне; они были глубочайшим образом обмануты и раздражены реакцией и мистицизмом, привносимым императором в Россию. Вторые же появились на свет в первые годы царствования Александра; их детскими впечатлениями были война и вызванный ею патриотический порыв — подростками они питались рассказами о боях и славе; чувство национальной гордости стало неотъемлемой частью их души, а история России — частью их образования. „История...“ Карамзина была для всех этих юношей настольной книгой; величие настоящего естественным образом сопрягалось в их умах с величием прошлого. Болезненное чувство „выскочек“ было уже почти чуждо им; ими владела вера в собственные силы и в будущее своей страны.

Проблема отношений с Западом виделась им в другом свете: речь шла уже не о противопоставлении русского *варварства* и европейской *цивилизации*, но об установлении отношений между *цивилизацией* русской и *цивилизацией* Запада».

Как мы видели, для первой реакции на вызов, с которым столкнулось русское образованное общество, было характерно стремление доказать свое «соответствие», право считаться в числе «народов образованных», «ци-

вильзованных»: так, Сергей Глинка убеждал, что русские князья и святые ничем не уступают героям древности, Карамзин находил, что история России может быть интересна не менее, чем история других народов; в рамках той же логики, но уже имеющей иные следствия, находились и попытки убедить не в «равенстве», но в «превосходстве»: так, для Шишкова славянский язык оказывался древнейшим, из которых он силился вывести все прочие, русское прошлое и настоящее представляло лучшим по сравнению с другими европейскими народами — их превосходство оказывалось под вопросом из-за ужасов революции и последующих событий, заставлявших задумываться об истоках этих событий, коренящихся в природе европейского просвещения. Для нового поколения, входившего в свет в начале 1820-х гг., определяющей становилась не идея общего «просвещения» и «цивилизации», но «особого пути», который предстоит каждому «народу историческому»: цивилизованный мир складывается из массы самостоятельных голосов, принадлежать к числу «народов исторических» не значит теперь непременно разделять одни и те же воззрения — напротив, в рамках логики, идущей от Гердера и громко зазвучавшей в текстах немецких романтиков с начала нового столетия, ценность принадлежит уникальному и своеобразному. Ключевые категории осмысления действительности теперь заимствуются из сферы эстетики — и этот поворот замечательно согласуется с общей деполитизацией: говорить на языке эстетического значит теперь одновременно и возможность говорить тогда, когда прежние способы говорения оказались под подозрением.

Политическое напряжение, чувствительное для власти в самом слове «нация», приведет в 1820-е гг. к его вытеснению из печати, на смену приходит «народность»,

удобная своей размытостью. Алексей Миллер, анализируя историю понятий «нация» и «народность» в первой половине XIX в., отмечает: «В 1820-е годы в имперских элитах постепенно растет настороженность, и с начала 1830-х годов оформляется ясно выраженное стремление вытеснить понятие нация и заместить его понятием народность. С помощью этой операции надеялись редактировать содержание понятия, маргинализировать его революционный потенциал»*. Опережая уваровскую формулу, в журналистике 1820-х начнутся «споры о народности» с противопоставлением «народности» и «просто-народности», где «народность» будут определять через «верность духу народа», а не те или иные конкретные исторические формы. Народность оказывается и искомым, и повсеместно присутствующим, тем, что возможно «почувствовать», но затруднительно определить — неким «пустым местом», позволяющим наделять его необходимыми смыслами. Уже в Манифесте от 13 июля 1826 г., опубликованном после завершения суда над декабристами, присутствует знаковый смысловой поворот:

«Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу *основаны на природных свойствах народа* [выделено нами. — А. Т.]**», где есть отечествен-

* Отметим попутно, что уже в конце 1810-х П. А. Вяземский, переводивший на русский текст проекта Уставной грамоты Российской империи, размышлял над русскими вариантами французского nation, склоняясь к «народности».

** Сходна риторика во Всеподданнейшем отчете III Отделения за 1837 г.: «Безусловная любовь и неограниченная преданность к Царю принадлежат, так сказать, к природе русского народа (выделено нами. — А. Т.), и чувства сии при всяком случае, прямо от лица Государя или до Царственного Его Семейства относящиеся, разительно обнаруживаются». Другой пример (из отчета за 1845 г.):

ные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злоумышленных. <...> Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовещаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления».

Декабристское же восстание интерпретируется в Манифесте в рамках типичного для романтизма противопоставления «истинного» и «ложного» просвещения:

«Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздности телесных сил, — недостатку твердых познаний должно приписать то своеволие мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — гибель».

Только что созданное III Отделение в отчете за 1827 г. пугает власть «русской партией»:

«**Молодежь**, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть Империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской **русского патриотизма** [...] Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения».

«Надобно желать одного, чтобы при этом стремлении дел русские не переняли европейской порчи нравов, сохранили свою народность и остались навсегда, по примеру прародителей своих, преданными своей Вере, своим Государям и Отечеству».

Этот «русский патриотизм», вызывавший опасения III Отделения, действительно легко читается, например, в следующем пассаже из 2-го тома «Мнемозины», альманаха, издававшегося московским Любомудром кн. Одоевским (1803–1869) совместно с Кюхельбекером (1797–1846): «Русская литература должна свободно и широко присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии, но присвоить так, чтобы не терять своей самостоятельности и народности. Лучше всего иметь поэзию народную. Да создастся для славы России поэзия истинно русская; *да будет Святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первую державою во вселенной* [выделено нами. — А. Т.]».

Потребность в контроле над направлением умов и за ходом образования все явственнее осознается как первоочередная задача власти. Уже в 1823 г., обращаясь к государю, М. Л. Магницкий (1778–1844) писал:

«Князь тьмы века сего производит большую часть своих влияний на мир и миродержателей гражданских через общее мнение, которое есть как бы труба, коею он, как в древности оракулы, произносит свои заключения, суды и приговоры, сеет лжи и клеветы, распространяет нелепые предсказания и нечестивые понятия. У большей части народов и, в том числе, у нас — гул сей, вопреки истине, почитается *гласом Божиим (глас народа — глас Божий)*. В конституциях, сем неистовом порождении бунта народного, главным их основанием положена *свобода книгопечатания* или — что одно и то же — беспрепятственное волнение и *необузданность мнения общественного*, т. е. труба для глаголов князя тьмы, как можно более широкая, громкая и всегда отверстая; а как он знает, что доброе воспитание народное, улучшая сердце и образ мыслей падшего человека, составить может и общее мнение доброе, т. е. из трубы для него нужной может сделать поток благодати

не только на поколение настоящее, но и на будущее; то он, отвлекая всеми способами внимание правительств и людей благонамеренных от сего важного предмета, указывает его одним своим чадам и последователям, *как рычаг, которым можно потрясти весь мир гражданский*».

Сменивший А. Н. Голицына (1773–1844) в кресле министра народного просвещения Шишков озабочен двумя вопросами: во-первых, разработкой нового цензурного устава (он будет принят в 1826 г., найден крайне неудачным, получив прозвание «чугунного», и два года спустя заменен иным, просуществовавшим все николаевское царствование) и, во-вторых, контролем над образованием. В 1826 г. он подает записку, в которой, прежде всего, настаивает на развитии сети казенных образовательных учреждений, с заведением дворянских пансионов при губернских гимназиях и даже при некоторых уездных училищах — однако опасения его в первую очередь связаны с массой не вполне подконтрольных власти частных пансионов и домашних учителей. Он утверждает, связывая воедино задачи контроля и идеологического воспитания в новом духе:

«Частное или домашнее воспитание может быть терпимо, но одно только народное, общественное заслуживает одобрение правительства... Главным и незыблемым правилом считаю я наблюдение, чтобы общественному воспитанию во всех частях дано было такое направление, чтобы оно не изглаживало в русских характера народного, но чтобы улучшало и укрепляло оный. Главная цель учреждений всех наших учебных заведений есть образование верных подданных государя, просвещенных и усердных сынов церкви и отечества».

В том же духе, выступая против частного образования, подаст, например, в 1826 г. свою записку и Пушкин — выражая господствующие настроения и ясно определившийся правительственный курс. Впрочем, на практике процесс затянется — и лишь Уваров сможет гордиться тем, что «переписал» всех частных учителей: те будут поставлены, по крайней мере формально, под правительственный контроль и будут обязаны проходить испытания для получения разрешения на право начала или продолжения своей деятельности.

Уваров, получивший в 1830-е гг. *carte blanche* на идеологию, предпримет амбициозную попытку «перехвата» романтических учений о «народности», выросших в атмосфере «освободительной войны» в Германии (1813)*. Уже в первом циркуляре, разосланном Уваровым по вступлении его в должность министра народного просвещения, содержится формула, в дальнейшем ставшая известной под именем «официальной народности». В нем, обращаясь к попечителям учебных округов и ректорам университетов, министр писал:

«Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с Высочайшим намерением Августейшего Монарха, совершалось в соединенном духе Православия, Самодержавия и народности. Я уверен, что каждый из гг. профессоров и наставников, проникнут будучи одним и тем же чувством преданности Трону и Отечеству, употребит все силы, дабы соделаться достойным орудием правительства и заслужить полную доверенность оною. [...]

* В отчете «Десятилетие Министерства народного просвещения. 1833–1843 гг.» Уваров писал: «Слово „народность“ возбуждало в недоброжелателях чувство неприязненное за смелое утверждение, что министерство считало Россию возмужалою и достойною идти не позади, а по крайней мере рядом с прочими европейскими национальностями».

Когда Россия, вследствие тяжких превратностей счастья, постигших ее во младенчестве, отстала от Европы в успехах образованности, Промысел даровал ей Царя, Им же вдохновленного, умевшего почти внезапно поставить ее на место, ей свойственное, но в то же время вынужденного для достижения сей великой цели жертвовать не только народным самолюбием, но и частью народного ее характера. Ныне другое время: Россия стоит на высокой чреде славы и величия; имеет внутреннее сознание своего достоинства и видит на троне другого, тем же Провидением ниспосланного Царя — хранителя и веры ее и народности. Отжив период безусловного подражания, она лучше своих иноземных наставников умеет применять плоды образования к своим собственным потребностям; ясно различает в остальной Европе добро от зла: пользуется первым и не страшится последнего; ибо носит в сердце сии два залога своего благоденствия, с коими неразрывно соединен третий — самодержавие.

Россия имеет счастье верить Промыслу, который проявляет себя в великих Царях ее. Тогда, как другие народы не ведают покоя и слабеют от разномыслия, она крепка единодушием беспримерным».

Как отмечал А. Койре, «формула Уварова не была простым воспроизведением националистического и ксенофобского оптимизма правительства, выражением которого в литературе служили писания Булгариных и Гречей. Те ограничивались противопоставлением России с ее „патриархальными добродетелями, ее верой и нравами“, ее непоколебимой верностью трону (в этом — вершина ее морального совершенства) распадающемуся, извращенному, безнравственному и неверующему Западу, сотрясаемому революциями и т. д. [...] Уваров хотел совсем другого, он желал национальной цивилизации. Он знал, что она пока отсутствует, и стремился

развить ее „в согласии с взглядами и предположениями правительства“».

В 1834 г. в только что основанном «Журнале Министерства народного просвещения», долженствующего быть выразителем мнений ведомства, ответственного за идеологию, и распространять руководящие воззрения среди подведомственных мест и учреждений, П. А. Плетнев (1792–1865) рассуждал:

«В числе главных принадлежностей, которых современники наши требуют от произведений словесности, господствует идея народности. Она представляет собою особенность, необходимо соединяющуюся с идеею каждого народа. [...]

В звуках слова *народность* есть еще для слуха нашего что-то свежее и, так сказать, необносившееся; есть что-то, к чему не успели мы столько привыкнуть, как вообще к терминам средних веков».

В русских условиях «народности» нет нужды создавать политического субъекта — восстанавливать германский Рейх — поскольку этот субъект уже наличествует в лице Российской империи. Как раз напротив, возможные оппоненты власти — среднее дворянство, почувствовавшее свою силу и обретшее корпоративное сознание в краткий период наполеоновских войн, — оказываются в ситуации, когда возможная риторика «народности» взята уже на вооружение власти, опирающейся в этом одновременно на формирующуюся бюрократию и мещанство. Идеологическая конструкция, предложенная Уваровым, имеет, однако, фундаментальную слабость — она принципиально предполагает ограниченную и закрытую аудиторию, к которой обращена, — условно говоря, те поднимающиеся социальные группы, которые проходят через русские гимна-

зии и университеты, где они должны подвергнуться «обработке» в духе «официальной народности», — читатели русскоязычной прессы, плотно контролируемой Министерством просвещения. Но эта же идеологическая конструкция не может включить в свои рамки ни западные окраины империи (Остзейские губернии и Царство Польское), она не может быть артикулирована как «собственная речь» высшими правящими кругами империи — принципиально вненациональными, чья идеология остается идеологией династической преданности, когда местные аристократии заключают договор о преданности империи, но отнюдь не «русской народности».

Впечатанная в уваровскую формулу «народность» станет «неопределенным третьим», обретающим осмысленность через два первых члена — «православие» и «самодержавие», придавая им флер исторической глубины и «органичности». В циркуляре Министерства народного просвещения от 27 мая 1847 г. разъяснялось, что «русская народность» «в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к православию и самодержавию», а «все, что выходит из этих пределов, есть примесь чуждых понятий, игра фантазии или личина, под которою злоумышленные стараются уловить неопытность и увлеченность мечтателей». Быть православным, «без лести преданным» подданным своего монарха, — вот, собственно, к чему сводится «народность» в практическом истолковании, и отсюда же возникает внешне парадоксальная ситуация, когда добровольные истолкователи «народности», начиная с Погодина, не говоря уже о славянофилах, оказываются в той или иной степени неудобными для власти. Единственное правильное здесь — воздерживаться от любой интерпретации, повторяя ссылку на «народность» как на не-

что самоочевидное и используя обвинение в «ненародности» против тех, кто уже и так помечен в качестве политического противника.

* * *

Девятнадцатый век принято — имея на то более чем солидные основания — называть «веком по преимуществу историческим», причем в качестве такового он был осознан уже в первые десятилетия того столетия: столь решительно и масштабно вторглись исторические дебаты во множество сфер политической и общественной жизни. В числе прочих — и не последним по важности — аспектов подобной «историзации» стало осмысление и манифестация государственной идеологии через призму истории: воспитание подданного (из тех, кто относился к «образованным сословиям», т. е. дошел до среднего или университетского образования) теперь едва ли не в первую очередь возлагалось на историка, должностующего сообщить надлежащий взгляд на прошлое — из которого вытекало соответствующее понимание надлежащего*.

Если о доктрине «официальной народности» написано многое, то предъявление государственной идеологии в те же годы в исторических исследованиях куда реже попадало в центр исследовательских интересов. Преимущественное внимание оказалось уделено фигуре Михайлы Петровича Погодина (и его «Поллукса» — Степана Петровича Шевырева), что объясняется изрядной

* В этом ракурсе расхожий афоризм «*historia est magistra vitae*» имел вполне конкретный — далекий от «историцистского» прочтения — смысл: «история» (в единстве прошлого и рассказа о нем) научала тому, как надлежит жить и действовать в современности, через прошлое раскрывалось понимание настоящего.

публичной активностью данного персонажа — однако с точки зрения обратного влияния на государственную идеологию или, например, в отношении определения содержания учебных курсов по крайней мере не меньшее значение имел и другой русский «официальный историк», взгляды и персона которого известны сейчас существенно меньше, чем Погодина — Николай Герасимович Устрялов (1805–1870). Его гимназический учебник русской истории, представляющий конспект университетского курса, выдержал более десяти изданий, став таким же неизменным элементом гимназического быта 1840-х — 1850-х гг., каким для последующего времени станет «Иловайский», с 1834 г. и до кончины — профессор по кафедре русской истории Петербургского университета, в 1836 г. избран в Академию наук — в возрасте всего 31 года, будучи родом из крепостных, в 1847 г. публикует «Историческое обозрение царствования Николая I» — служащее и продолжением его «Русской истории» и, одновременно, полуофициальным изложением основных событий и надлежащих интерпретаций современной истории (рукопись «Исторического обозрения...», как известно, была просмотрена и отредактирована самим Николаем I, ставшим неофициальным соавтором Устрялова).

Речь, однако, идет не только о чинах и влиянии — последние были наградой за то видение русской истории, что было разработано и убедительно представлено молодым историком. В данном очерке мы сосредоточимся лишь на одном аспекте — на представлении в устряловской концепции истории тех территорий, которые именовались «Западным краем» или «Западными и Юго-Западными губерниями Российской империи», поскольку именно в этом отношении и интеллектуальное новаторство, и идеологическая привлекательность

концепции Устрялова особенно заметны. Собственно, именно предложенное им видение истории этих территорий и обеспечило быстрый карьерный взлет и стало основой последующего долговременного влияния на политику министерства народного просвещения. По воспоминаниям Устрялова, «в 1835 г. обер-прокурор Синода Протасов и мин. нар. просв. Уваров пришли „в восторг“, узнав от Устрялова, что Литовское княжество, которое „важно было для Протасова по политическим соображениям“, было тоже Русь, — и Уваров сказал Протасову (по-французски), что об этом надо доложить государю». — Этот восторг вполне объясним, поскольку концепция Устрялова удовлетворяла сразу нескольким запросам. Начнем с ближайшего, того, ответ на который вызвал восторг обер-прокурора Св. Синода графа Протасова: в этот период как раз велась интенсивная подготовка присоединения униатов западных губерний к православно-й церкви — и то обстоятельство, что «Литовское княжество» — «тоже Русь», давало дополнительное идеологическое обоснование планируемой акции, позволяя представить ее не только как «религиозное воссоединение», но и как «воссоединение народа». Именно последний момент зазвучит наиболее громко в Полоцком соборном акте (от 12 февраля 1839 г.), поданном на имя императора с просьбой о принятии униатов в православие:

«С отторжением от Руси, в смутные времена, западных ее областей Литвою, и последовавшим затем присоединением их к Польше, Русский православный подвергнулся в них тяжелому испытанию от постоянных усилий Польского правительства и Римского двора отделить их от церкви православно-кафолической восточной и присоединить к западной. Лица высших состояний, стесняемые всеми мерами в их правах,

совратились в чуждое для них Римское исповедание и забыли даже собственное происхождение и народность*. Мещане и поселяне были отторгнуты от единения с восточной церковью посредством Унии, введенной в конце XVI столетия. С того времени сей народ отделился от матери своей, России: постоянные ухищрения стремились к тому, чтобы сделать его совершенно чуждым древнего отечества его, и униаты испытали, в полном смысле, всю тягость иноплеменного ига.

По возвращении Россиию древнего ее достояния, большая половина униатов восприсоединилась к прародительской своей Грекороссийской церкви, а остальные нашли покровительство и защиту от преобладания Римского духовенства. В благословенное же царствование Вашего Императорского Величества, при благодетельном воззрении Вашем, Всемиловитвейший Государь! у них уже по большей части восстановлены в прежней чистоте богослужение и постановления Греко-восточной церкви; их духовное юношество получает воспитание соответственное своему назначению; *они могут уже быть и называть себя Русскими* [выделено нами. — А. Т.]».

А раз они «могут <...> называть себя Русскими», то им следует быть «Русскими» вполне, т. е. отбросить последние остатки «раскола» и стать *вновь* «православными». После описания церемонии принятия в лоно православия униатов в Св. Синоде Устрялов пишет: «Утешительное зрелище воссоединения повторилось в Витебске, Полоцке, Велиже, Сураже, Орше, Минске и Вильне. Тихо и безмятежно *родное возвратилось к родному, и с тех пор все основное народонаселение в западном краю им-*

* Характерным образом вера здесь трактуется как наследственное, народное и природное — что найдет свое пафосное выражение в последних строках цитируемого фрагмента соборного акта 1839 г.

перии, за исключением собственно так называемой Литвы и Жмуди, не только Русское, но и православное [выделено нами. — А. Т.]».

Второй, менее ситуационный запрос, заключался в том, чтобы снять польские притязания на «украинские и белорусские земли», что было особенно актуально в ситуации после польского восстания 1830–1831 гг.: устряловская концепция подводила удобное основание под правительственную политику, нацеленную на ослабление польского культурного и экономического влияния на данных территориях, позволяя описать данные действия не как направленные в первую очередь «против» (поляков), но позитивным образом: на «возрождение», «возвращение» «русского края», где образ «чужака» и «агрессора» — не только против Российской империи, но и против местных жителей, «народа» — приходился уже на долю поляков.

Однако, прежде чем перейти к анализу представления Устряловым места Западных губерний в русской истории, следует рассмотреть то теоретическое основание, которое он выстраивает для своего исторического проекта. Фактически и то, и другое было представлено им в докторской диссертации, защищенной в 1836 г. и представляющей программу «Русской истории» и ее обоснование (на основании этой диссертации Устрялов был избран в Академию наук, где председательствовал С. С. Уваров), а в 1838 г. Устрялов специально обратился к месту истории Литовского княжества в русской истории в актовой речи, прочитанной в Санкт-Петербургском Главном педагогическом институте. Говоря об успехах русских ученых, Устрялов после пары общих слов уточняет: «Признавая <...> главную потребность объяснение всего национального, они чаще устремляли испытующий взор на такие предметы, кои недоступны уче-

ной Европе, понятны только Русскому уму, Русской душе. В числе этих предметов первое место занимает отечественная История: над нею мы более всего трудились и достигли наконец того, что за несколько лет перед сим издано было сочинение, которое заслужило живейший восторг, и общим голосом признано было достойным стоять на ряду с лучшими произведениями Европы в том же роде [т. е. «История...» Н. М. Карамзина. — А. Т.]. Воздав должное заслугам Карамзина, историк переходит к тем обстоятельствам, которые делают ее неудовлетворительной или, по крайней мере, недостаточной в данный момент. Указав на появление новых материалов и специальных исследований, он указывает и на другую сторону, важнейшую в контексте речи:

«С другой стороны, после решительного влияния на нас Европейского образования, когда пробудилась мысль о народности, обещающая столь вожделенные плоды в будущем, кто удовлетворительнее Истории скажет нам, в чем заключаются элементы Русской народности, или те основные начала, из коих развилась наша жизнь общественная, гражданская и семейная? Наконец, Русская История должна решить, самым положительным образом, великий современный вопрос о Польше и о подвластной ей некогда Западной России».

Предмет русской истории понимается Устряловым следующим образом: «Русская История есть наука, объясняющая постепенное развитие государственной жизни Русского народа от первого начала ее до настоящего времени» — т. е. это история государства, но государства определенного народа: здесь воспроизводится популярный взгляд того времени, отраженный, например, у Гегеля, что история начинается с появления государства, но одновременно история является *историей*

народа — в его государственном состоянии. «Русские» же являются и аудиторией, к которой обращена данная история: «Изучение Русской Истории доставляет обильную пищу уму и сердцу. Русские справедливо могут сказать, что предки их, неоднократно застигаемые жестокими бедствиями, спасали себя не случаем, не чужеземною помощью, а собственными силами, верою в Провидение, усердием к престолу, любовью к отечеству <...>». В этом отношении Устрялов видит недостаточность Карамзина — если красотою изложения он способен вдохнуть любовь к отечеству, то объяснение «постепенного развития государственной жизни Русского народа» у него отсутствует: «Автор ведет не нить событий, постепенно обнаруживающихся в нашем отечестве, а ряд Великих Князей и Царей. Сообразно принятому им плану, каждая глава его Истории заключает не общее какое-нибудь явление, что-нибудь целое, образовавшееся из многих частных событий и господствовавшее в известных границах, а биографию Великого Князя или Государя» — вслед за чем демонстрирует архаичность для современной ситуации подобной, династической истории: «<...> автор, описывая XII и XIII столетия, выставляет на первом плане обыкновенно Князей Суздальских, как будто они властвовали над всею Русскою землею; между тем ход событий удостоверяет, что в Русской земле в начале XIII столетия было по крайней мере 10 систем или государств, разделенных на многие уделы и имевших своего Великого Князя. Многие из них, например, Галицкие Великие Князья, играли роль важнее Суздальских»; «<...> в числе событий времени Василия Темного описан Флорентийский собор весьма подробно. Этот случай чрезвычайно важен в нашей Истории, но в отношении не к Василию Темному, а к судьбе Западной России, как зародыш Унии, которая также

рассказана не у места в истории Федора Иоанновича, между тем, как она имела решительное, прямое влияние на судьбу не Московского Государства, а Литовского Княжества».

Если критические замечания в адрес Карамзина достаточно осторожны — в силу высокого официального статуса его «Истории...», то применительно к «Истории русского народа» Полевого Устрялов позволяет себе куда большую резкость и определенность — причем в критике работы Полевого звучит несколько довольно нестандартных моментов. Во-первых, это раскрываемое Устряловым понимание «истории народа» — и объяснение того, почему «История...» Полевого не может считаться таковой:

«<...> нельзя принять изложенных им доводов основанием <...> той мысли, что до половины XV века мы видим народ, а не государство. Что такое государство? Соединение поколений одного известного племени или нескольких племен в одно гражданское общество, имеющее свои законы, свою веру и управляемое верховною властью. Допустим, что в первые шесть или семь веков бытия Руси было в ней несколько таких обществ, возникших в Славянском племени и основанных Норманнами, значит, что Русь была разделена на несколько государств, в чем согласен и сам автор; следовательно, надлежало только говорить не об одном, а о многих государствах; или справедливее, надобно было писать Историю Руси, не страны и не народа, а государства, подвластного одной господствующей фамилии, разделенного сначала, по удельному праву, между многими владетелями одного дома, впоследствии между двумя отраслями, между поколением Иоанна Калиты и домом Гедимины. Все будет речь о государстве, или, если угодно, о государствах, а не о народе. По смыслу Русского языка, История народа может быть

в таком только случае, когда главным действующим лицом будет народ, так точно, как например, История Петра Великого, Фридриха II, Французской Революции. У Полевого народ также редко является на сцене, как и у Карамзина — и весьма естественно: все зависело от Князей; народ, исключая одного Новгорода и часть Пскова, был в стороне».

То есть «историей народа» может быть только та, где «народ» выступает субъектом, историческим деятелем, тогда как большая часть русской истории, по мысли Устрялова, являет нам другое положение вещей — и потому речь должна идти об истории государства или государств. При этом, однако, то, что позволяет говорить об общности этих «государств», сообщая им единую историю — наличие единого «народа» в качестве субстанциального основания. Отсюда и второй аспект работы Полевого, вызывающий критику Устрялова:

«Полевой, со времени покорения отечества Монголами, вперяет взор преимущественно на Суздальскую страну, описывает с величайшею подробностью все бывшие там перемены, слегка говорит о юго-западной Руси и мало по малу упускает ее из вида, как будто забыв, что там, за Днепром, образуется самостоятельное Русское государство, которое спорит с Москвою за право владычества на Русской земле, грозит завоевать и Польшу и владения Ливонского Ордена, не страшится борьбы с Монголами, соединяется с Польшею, далее опять отделяется, спорит с нею, и хотя в половине XVI века окончательно сливается с нею, но удерживает надолго все условия Русской народности.

Обо всем этом автор Истории Русского народа говорит мимоходом, как будто о событиях чужой страны, единственно по связи их с удельными бранями Князей

восточной Руси; даже видит в обитателях Литовского Княжества каких-то врагов Руси, хотя сами они были чисто Русские [выделено нами. — А. Т.]».

Подобный недостаток — общий у Полевого с Карамзиным, однако, «по крайней мере Историограф не изменил в главном своей идее. Но автор, имевший целью написать Историю Русского народа, не вправе был оставлять без внимания Литовское Княжество; не взирая на случайное соединение его с Польшею, оно долго сохраняло все элементы Русской народности, и только после долговременных усилий, Польское правительство успело изменить его физиономию, не изгладив ее однакож до последней черты».

Из сказанного уже достаточно определен абрис русской истории в представлении Устрялова:

- славянские племена «по введении христианской веры православного восточного исповедания, при Владимире св. <...> слились в один народ Русский и образовали одно государство»;
- «около половины XI века довершилось основание Руси; с тех пор внешнее расширение ее прекращается»;
- с первых десятилетий XIV в. «совершился великий переворот, имевший решительное влияние на судьбу нашего отечества. Русские княжества к востоку от Днепра постепенно стали исчезать и входить в состав *Государства Московского*, признавая над собою власть одного дома, в роде Иоанна Калиты <...>. Русские княжества к западу от Днепра, кроме Галиции, присоединившейся к Польше, слились также в одно целое и образовали вместе с Литовским народом самостоятельное государство, под именем *Великого Княжества Литовского*, главою коего был

дом Гедимины. Отселе Русская земля разделилась на две половины, на Восточную или Московскую и Западную или Литовскую. Как в той, так и в другой возникает новый порядок вещей, отличный от прежнего».

С этого момента русская история раздваивается полноправным образом на две части — восточную и западную, каждая из которых на некоторое время является полноценной историей (т. е. историей государства данного народа) — до тех пор, пока в конце XVI в., после двух уний, государственной и церковной, Литва не подпадает под власть Польши: «Случайное обстоятельство полагало преграду к слиянию и прочих областей в одно целое: Польша, страшась могущества потомков Гедимины, примкнула к их державе, избрав на свой престол внука его Ягелла, и всеми мерами старалась отклонить опасное для нее соединение Западной Руси с Восточною. Но как с одной стороны, Русские Цари имели неотъемлемое право на Западную Русь, где предки их водворили жизнь гражданскую и святую веру*, где в полном блеске развилась Русская жизнь, и при единодушном желании той и другой части быть под властью одного Государя, соединение рано или поздно было неизбежно; с другой же стороны, судьба Польского Королевства была уже неразлучна с судьбою Великого Княжества Литовского: то, по естественному порядку вещей, самая Польша должна была неминуемо войти в состав одной державы Русской**. Эта истина была очевидна в XVI

* Показательно соединение династической и национальной аргументации — к данному аспекту мы вернемся чуть ниже.

** В речи, произнесенной в 1838 г., Устрялов сформулирует данный тезис следующим образом: «соединение Польши с Литовским княжеством имело самое решительное влияние на главный ход событий нашего отечества; с одной стороны, оно надолго отсрочило

и в XVII веке, когда, по пресечении династии Ягеллоновой, благомыслящие Поляки, тем более Литовские чины неоднократно поручали судьбу свою Русским Царям. Одни интриги Польских магнатов и Езуитов препятствовали соединению двух народов одноплеменных, единоверных, разлученных случайными обстоятельствами и поставленных судьбою в такое положение, что только под державною десницею одного Венценосца они могли найти мир и благоденствие. — Оставаясь под властью Польши до времен Екатерины II, исключая областей, возвращенных Царем Алексеем Михайловичем, Западная Русь испытала все бедствия анархии, свирепствовавшей в Польском Королевстве, и величайшее зло народное, гонение за веру. Иго Польское было тягостнее Татарского», события же XVII века трактуются в рамках «новых усилий Польского правительства уничтожить народность в Западной Руси». Формулируя место Литовского княжества в русской истории, Устрялов утверждал: «Доколе оно было самостоятельно, имело своих Князей из дома Гедиминова, сохраняло все черты Русской народности и спорило с Москвою о праве господствовать над всею Русью, историк обязан говорить с равною подробностью о делах Литовских и Московских и вести оба государства рядом, так точно, как до начала XIV столетия он рассказывал о борьбе удельных Русских княжеств <...>. Это будет продолжаться до исхода XVI ве-

слияние западной Руси с восточною <...>; с другой стороны, оно волекло Польшу в пределы Русского мира: судьба ее так тесно была связана с судьбою Литовского княжества, что самобытное существование ее было невозможно, как скоро государство Ягеллонов вошло в состав Российской империи. Таким образом, событие, почти незаметное под пером наших бытописателей, было источником важнейших явлений нашей Истории: это был узел, который необходимо надлежало распутать; целые четыре века мы трудились над ним, — доколе ум Екатерины II не разрешил его».

ка. Когда угаснет дом Гедимины и отчина его соединится с Польшею, Русский бытописатель изобразит на главном плане государство Московское или Россию, потому что в недрах ее сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни Русского народа <...>. На втором плане этой картины стоит великое княжество Литовское, опутанное цепями иноплеменников; историк не обязан рассказывать о всех делах Польских, в коих принимало участие Литовское княжество, — потому что это предмет посторонний; но он обязан непременно показать, каким образом в западной Руси, под игом Поляков, постепенно исчезали главные черты ее народности, как она боролась со своими гонителями, чтобы спасти свою веру, свой язык, главное, почти единственное наследие, оставшееся ей от предков; как подавали ей руку помощи мудрый Алексей, Великий Петр, доколе Екатерина II не решила этого старинного, столь запутанного вопроса о восточной и западной Руси: та и другая сливаются в одно целое, в одну Российскую империю, и с тех пор Литовская История должна умолкнуть». Такую программу он последовательно и реализовал в своих учебниках — так, в гимназическом учебнике всему периоду с XIII до конца XIV в. отводится 109 страниц, из них «Литве» — 23 страницы, не считая параграфов, отведенных смутному времени и войнам с Речью Посполитой XVII в.; в университетском курсе ситуация еще более показательная, поскольку гл. III ч. I, озаглавленная «Разделение Руси на восточную и западную под игом Монголов», дает не только параллельное изложение на востоке и западе, но имеет общие вводный и заключительный разделы, утверждающие единство описываемого периода, а следующая глава (IV) названа «Москва и Литва», во II части, в гл. VIII, «Очерк Русской старины», в общем перечне установлений, ин-

ституций и сословий, указываются «Царь», «Великий Князь Литовский», «Митрополия Московская» и «Митрополия Виленская», «Дворянство», «Шляхта», «Евреи», в параграфе IV той же главы («Законы и Управление») четыре подпункта демонстрируют и единство истории, и ее разделение на две части: (1) «Законы в Московском государстве»; (2) «Законы в Литовском княжестве»; (3) «Управление в Московском государстве» и (4) «Управление в Литовском княжестве». Основной же рубеж — царствование Петра I, служащий для разделения русской истории на две части, «древнюю» и «новую», обосновывается следующим образом: «<...> История наша до конца XVII века представляла два главные, почти непрерывные явления: с одной стороны, в восточной Руси развитие государственных сил из коренных Русских начал; с другой стороны, в западной Руси, бедственное влияние Польши. К концу XVII века оба явления совершились: Русь восточная образовала могущественное царство, в коем все носило печать народности самобытной; Русь западная, не успев слиться с восточною, подпала игу Поляков. Отселе главный предмет нашей Истории — судьба восточной Руси, судьба России».

Помимо указанных ранее аспектов, обусловивших привлекательность видения русской истории, предложенного Устряловым, укажем еще два, на наш взгляд, немаловажных:

— во-первых, при всей критике Карамзина, Устрялов не порывает с династической историей, создавая компромиссный вариант, где история «государства/государств русских» сочетается с династическим видением. Так, делается все, чтобы Гедиминовичей представить как «национальную династию», что заметно, например, в следующих пассажах: «Когда угас знаменитый дом Гедими-

нов, и Литовское княжество подпало власти Государей не Русской крови, не Русской веры, не Русского языка, некому было охранять в нем священный залог народности, в продолжение многих веков неприкосновенный: западная Русь сделалась добычею езуитов, старавшихся истребить в ней все Русское, и к концу XVII века она действительно утратила многие черты своей национальности: Русские законы уступили место Польским; язык был искажен; нравы и обычаи изменились; Уния поколебала и веру православную»; «<...> Литвин, язычник, еще мало знакомый с гражданскими уставами, исчезал в огромной массе Русского народа, не мог передать ему ни своей веры, ни своего языка, сам заимствовал от него то и другое, и Литовское государство, при первых преемниках Гедимины, представляло такую же систему княжеств, какую мы видим в Московском государстве до Иоанна III. Там все было Русское, и вера, и язык, и гражданские уставы; самые князья Литовские, рожденные от Русских княжен, женатые на Русских княжнах, крещенные в православную веру, казались современникам потомками Владимира святого». Само соединение Литвы с Польшей мыслится исторической случайностью, нарушившей естественный ход истории: «оно надолго отсрочило слияние западной Руси с восточною, которое без того по всей вероятности, совершилось бы еще в конце XVI века, когда угас дом Ягеллонов и в права его должен был вступить дом Калиты» — характерно, что в 1836 г. Устрялов говорит о «поколении Иоанна Калиты» и «доме Гедимины» как о «двух отраслях», риторически трактуемых едва ли не как части «одной господствующей фамилии», что находит и свое визуальное выражение: в приложенной к учебнику Устрялова для гимназий родословной таблице в рамках одного листа — совместно — даны генеалогические древа всех трех династий: «Дом Рюрика», «Дом

Гедимины» и «Дом Романовых», демонстрирующие как диахроническое, так и синхроническое видение;

— во-вторых, в соответствии с присущей самому государю полонофобией, Польша выступает естественным, едва ли не единственным врагом — по крайней мере единственным, который эмоционально однозначно негативно маркируется в текстах Устрялова. Помимо цитированных выше фрагментов, приведем выдержки из гимназического учебника, относящиеся ко второму и третьему разделам Речи Посполитой: «Екатерина снова убедилась, что не будет конца тревогам ее империи, доколе столь беспокойный сосед не потеряет последних средств вредить ей, и взяла свои меры: она решилась возвратить Польшу в первобытное ее состояние, в коем она находилась до соединения с Литовским княжеством. <...> Вслед за тем созван сейм в Гродно, где по требованию дворов Российского и Прусского в 1793 году решено было: присоединить к России *остальные области западной Руси Волынскую, Подольскую и Минскую* [выделено нами. — А. Т.] <...>». «В 1794 году положено было прекратить самостоятельное бытие Польши, которая не могла им пользоваться без вреда соседям и собственному благоденствию. <...> К России присоединились остальные области Литовские, Гродненская и Виленская, вместе с Курляндиею <...>. Обитатели всех возвращенных России областей были сравнены в правах и преимуществах с прочими подданными Российской империи введением учреждения о губерниях». Обратим внимание, что в тексте нет особого напряжения между терминами «присоединенный», «возвращенный» и т. д. — равно как «Западная Русь» и «Литва» в данном идеологически важном тексте используются нередко один вместо другого, поскольку термин «Литва» воспри-

нимается как не имеющий какой-либо требующей настоящего учета политической «нагрузки».

«Отделение» Польши и ограничение ее областью Царства Польского весьма заметно в другом тексте Устрялова, имеющем особую политическую значимость — в «Историческом обозрении царствования государя императора Николая I», в создании которого заглавный персонаж принимал непосредственное участие. Описывая восстание 1830–1831 г., Устрялов сообщает:

«<...> нашлись немногие люди мечтательные, так часто встречаемые в Польше, с несбыточными надеждами, малодушные в беде, высокомерные в счастье, и неблагодарные.

Не довольствуясь благоденствием своей отчизны, беспримерным в ее Истории, под скипетром Российских Императоров*, они возмечтали о возможности образовать из царства Польского государство отдельное, самостоятельное, включить в состав его западные губернии России, впоследствии отторгнуть Польские области от Австрии и Пруссии, и воскресить Речь Посполитую с ее шумными Сеймами. Так думали многие легкомысленные паны, с наслаждением и гордостью вспоминавшие золотое время владычества магнатов,

* Подробно описывается «благоденствие» через перечисление мер, принятых к упорядочению «гражданского» положения Польши, ее финансов, развития промышленности и торговли и т. п. Особо подчеркивается: «В доказательство чистоты своих намерений, Александр вверил управление делами царства таким людям, которых нельзя было подозревать в равнодушии к выгодам Польши: Наместником своим он назначил генерала Зайончека, старинного врага России, посевшего в боях за свою отчизну, от Костюшки до Наполеона; но благородного душою и ценившего великодушие Государя. Министры были избраны также из числа самых ревностных Поляков. Выгоды России охраняли только два лица, Цесаревич Константин Павлович и действительный тайный советник Новосильцов <...>».

и молодые люди нового поколения, неопытные юноши, не знакомые ни с Историей своего отечества, ни с истинным положением дел, но *слепые подражатели запада* [выделено нами. — А. Т.]».

Восстание 1830–1831 гг. в описании тщательно ограничивается областью «Конгрессовки» — прочие территории выступают лишь как объекты притязания (заведомо фантастического — говорящего лишь о «польском легкомыслии»).

В итоге Устрялов предлагает цельную версию русской истории как истории народного единства — находящего свое очередное историческое выражение в существующей империи, причем империя отождествляется с «русским народом», прочие же территории выступают либо как «приобретения» империи (желательные и/или добровольные), единственным исключением из числа каковых оказывается Царство Польское, своего рода «вынужденное приобретение». Задача исторического повествования самим Устряловым мыслится в том числе и в пропагандистском плане — как устранение заблуждений, накопившихся со временем, и осознание единства русского народа, некогда вполне ясного, а затем затемненного и в силу внутренних, и внешних обстоятельств: «весьма знаменательно, эта борьба Москвы с Литвою изображается в наших летописях совсем не теми красками, какими описываются нашествия иноплемennых народов: современные историки не скрывают, что Литовские Князья находили нередко в восточной Руси многих доброжелателей, что Новгород, Тверь, Рязань неоднократно склонялись на их сторону, и если иногда у летописцев вырываются укоризны этим опасным соперникам Москвы, то не надобно забывать, что в том же духе они рассказывали и о бранях удельных <...>. Одним словом,

наши летописцы имели темные, неопределительные понятия о Литовском княжестве; но из их сказаний нельзя вывести заключения о народной вражде между восточною и западною Русью. Иначе они стали смотреть на Литовское княжество в XVII столетии, после Самозванцев, когда Литвин и Лях стали для них словами однозначительными», аналогично и «не все Польские современные историки представляют это дело в таком виде: лучше из них, более основательные и менее пристрастные, например Кромер и в особенности Коялович, писавшие в то время, когда политика езуитов еще не созрела, не скрывают, что соединение Литовского княжества с Польшею совершилось с большим трудом, что главным препятствием тому была разноплеменность народов, что престол Великих Князей Литовских окружали большею частию Русские вельможи, что при дворе их господствовал Русский язык, что подвластные им народы с величайшим усердием берегли свою святыню, что езуиты уже отчаявались поколебать православие и что в самой Вильне находилось гораздо более храмов Грекороссийских, чем костелов Римских. Новейшие писатели Польские утаили все сии обстоятельства и разными софизмами запутав Историю Литовского княжества, успели внушить Европе мысль, что оно издревле составляло часть речи посполитой. Правда, некоторые из ученых писателей Немецких и Французских (Шлецер, Малтебрюн) старались рассеять это заблуждение и представить дело в настоящем виде: но *Польские понятия взяли верх и ввели в заблуждение нас самих* [выделено нами. — А. Т.]». На преодоление этих «заблуждений» и направлена историческая программа Устрялова, выступающая как инструмент переопределения принадлежности Западных и Юго-Западных губерний. М. П. Драгоманов писал, обращаясь к годам своего обучения

в Университете св. Владимира: «<...> мы помним случай, когда на студенческой сходке в Киеве в 1860 г. один украинец сказал: „история показывает, что здешний край не Польша“, — на что студент-поляк воскликнул: „не история, а Устрялов“».

В целом следует признать успешность устряловской интерпретации — утверждаемая в качестве официальной версии, она оказалась принята большей частью общества: к 1860-м из общего употребления уходит почти совершенно представление о Западных и Юго-Западных губерниях как о «польских», они, в соответствии с устряловской версией, помещаются в рамках «Руси». И уже поверх этого «историографического плато» начнется другой процесс — усложнения устряловской концепции в виде «большой русской нации» (когда на смену гомогенизирующей концепции придет видение трех локальных народностей: «великорусской», «белорусской» и «малороссийской») или же утверждения самостоятельности, например, «украинской» нации.

ЛЕКЦИЯ 4.

ДВА ОТВЕТА НА ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ: ЧААДАЕВ И СЛАВЯНОФИЛЫ

[...] Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершенствования равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота... Из всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество.

Но отдаленность [...] а более всего односторонность английской образованности Соединенных Штатов всю надежду Европы переносят на Россию.

И. В. Киреевский.

Обозрение русской словесности за 1829 г.

Всем памятни слова Герцена (1812–1870) из «Былого и дум» о впечатлении, произведенном на него в вятской ссылке появлением «Философического письма к даме» в «Телескопе»: выстрел, раздавшийся в ночи. Действительно, впечатление было сильное — но сила впечатления, обусловленная в значительной степени высочайшим диагнозом, поставленным автору, — способствовала и затемнению подлинного содержания «Философического письма» Чаадаева, к тому же оказавшемуся единственным опубликованным вплоть до 1860 г., а полностью текст главного сочинения Чаадаева стал доступен лишь с 1930-х гг.

Стандартная интерпретация, восходящая к Герцену, строится вполне в рамках популярных в философии

того времени диалектических схем: Чаадаев выступает в данном случае общим истоком, «Философическое письмо», — вопрос о судьбе России, о ее предназначении в мире, — оно не дает ответа, но настоятельно требует его. Ответами являются позиции, занятые западниками и славянофилами, тезис и антитезис, каждый вскрывающий неполноту, недостаточность другого, — и, предсказуемым образом, искомым синтезом в глазах Герцена выступает его собственное видение. Герцен полагал, что «Философические письма» не дают ответа об историческом предназначении России в мире — по существу, это означает, что его не устраивал ответ, ими данный.

То, отчего, на взгляд Герцена, у Чаадаева (1794–1856) присутствует только вопрос, без ответа, обусловлено националистической оптикой первого — и полной противоположностью ее у Чаадаева относительно желаемого и возможного будущего России. Для Чаадаева с начала 1830-х националистический поворот — гибельное движение, не столь важно, в виде ли «официальной народности», в лице ли ее московских истолкователей Погодина (1800–1875) и Шевырева (1806–1864) или славянофилов, стремящихся включить свое собственное содержание в официальную доктрину. Известное, вызвавшее бурную реакцию, утверждение пустоты русской истории имеет в логике самого Чаадаева отнюдь не только отрицательное значение — пустота объясняется отъединенностью от мировой истории (понимаемой как истории христианства), но она же является и положительным — ведь отъединенность может проявляться различно, в виде местных нравов, традиций, обыкновений, не имеющих общечеловеческого значения, не вносящих вклада в общее дело народов — подобного упрека нельзя, на взгляд Чаадаева, бросить России. Напротив, уже после скандала с «Философическим письмом», в «Апо-

логии сумасшедшего», предрекая России великую будущность, Чаадаев лишь усиливает свой исходный тезис, сводя Россию к «листу белой бумаги», образу, ассоциирующемуся с учением Локка о человеческом разуме. В «Апологии...», создаваемой для того, чтобы оправдаться и объясниться, Чаадаев пишет:

«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа и Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу».

Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться — его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на народ, не имеющий ничего частного — и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета — папы римского и императора Александра I, память которого он чтит до самой смерти. В письме к А. И. Тургеневу (1784–1846), приходящемся на осень 1835 г., Чаадаев замечает:

«И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что *ее дело в мире есть политика рода человеческого* [выделено нами. — А. Т.]; что Император Александр прекрасно понял это, и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без ка-

кого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что *если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей* [выделено нами. — А. Т.]».

Отзываясь на триумфальную постановку «Скопина-Шуйского» Кукольника в письме к А. И. Тургеневу от 1 мая 1835 г., он быстро переходит от возмущения по поводу драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:

«В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в области понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего это скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. [...] если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счаст-

ливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).

М. Ф. Орлову Чаадаев писал уже в 1837 г., после «философической истории»: «Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей. — А. Т.] кое-какие святые истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил Души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. *Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и за-*

конных путей, чтобы бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений [выделено нами. — А. Т.].

Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое».

Тем не менее и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли — привычно язвя, например, о защите диссертации Ю. Ф. Самарина (письмо к А. И. Тургеневу от июня 1845 г.) или в письме к де Сиркуру (1801–1879) от 1854 г. о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях:

«[...] все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути».

Чаадаевское видение России в мировой истории целиком связано с александровской эпохой — это радикальный имперский проект, никак не связанный с границами, нациями и т. п., напротив, он принципиально не ограничен, универсален — и даже известные «католические симпатии» Чаадаева имеют свой предел: Рим для него, разумеется, зримое воплощение вселенского, но христианство не ограничено католичеством. Собственно, понимание православия — единственный тезис, который существенно изменяется на протяжении 1830–1840-х гг. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль; теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое призвание» — или, как он ранее, в 1845 г., писал де Сиркуру: «Наша [...] церковь по существу — церковь аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете. Это — два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» — но в этой поздней интерпретации нетрудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена, допустить его напрасность — значило бы утверждать отсутствие смысла в течении времени, а в осмысленности прошлого Чаада-

ев никогда не сомневался — собственно, из столкновения этой веры в смысл и зримой бессмыслицы, как ему казалось наряду с целым рядом других «религиозных западников» александровской эпохи, и родилась его историсофская идея.

* * *

«Спор западников и славянофилов» относится к числу хрестоматийных событий в истории русской мысли — и, как обычно бывает с подобными событиями, давно отделился от реальных обстоятельств, став «матрицей», в которую укладываются многие другие идеологические противостояния. О «славянофилах» и «западниках» или о «славянофильстве» и «западничестве» в истории русской мысли говорят, обращаясь к событиям, отделенным друг от друга десятками, а иногда и сотнями лет — иногда и сегодня можно встретить характеристику той или иной позиции как «славянофильской», а обозначение воззрений как «западнических» встречается достаточно часто. К действительным историческим обстоятельствам все эти характеристики имеют обычно весьма отдаленное отношение.

Прежде всего начнем с терминологии — как нередко бывает в истории, название направления возникает достаточно случайным образом и дается полемически, оппонентами, затем утрачивая свой оценочный характер и начиная восприниматься достаточно нейтрально. В привычном для нас значении слова «славянофил» и «славянофильство» ввел в начале 1840-х гг. Виссарион Григорьевич Белинский, употребляя их в своих статьях в «Отечественных записках» иронически, а временами саркастически, для обозначения тех, кто в его глазах

поклонялся отечественной старине как самоценности, отвергал и порицал ценности современной цивилизации, противостоял тем интеллектуальным и социальным тенденциям, которые, на взгляд Белинского, были прогрессивными. В самом выборе слов уже присутствовала прямая и явная насмешка, поскольку первоначально, с 1800-х гг., так называли литераторов, разделявших взгляды адмирала А. С. Шишкова и затем, с 1811 г., сгруппировавшихся вокруг «Беседы любителей русского слова». В 1847 г. Белинский (1811–1848) писал в «Ответе „Москвитянину“»:

«Что такое „московское направление“, загадочную речь о котором начинается статья? Разумеется, так называемое славянофильство. Очевидно, что автор статьи — славянофил. Но он не хочет этого названия; он говорит, что его партию окрестили им петербургские журналы. Из этого видно, что он сам чувствует все смешное, заключающееся в этом слове, но он не чувствует, что слово может быть смешно не само собою, а заключенным в нем понятием, и что переменить название вещи не значит изменить саму вещь. Петербургские журналы не сговаривались дать название славянофилов литераторам известного образа мыслей; вероятно, они или подслушали его у самих этих литераторов, или извлекли из сущности их учения, *альфа и омега которого суть славяне, враждебно и торжественно противопоставляемые гниющему Западу* [выделено нами. — А. Т.]. На свете много охотников называть своих противников смешными или не смешными именами. Это же и не мудрено; но мудрено дать кому-либо такое название, которое бы принято было всеми. Такие удачные названия редко выдумываются кем-нибудь, но принадлежат всем, и никому в особенности. Таково и название славянофилов» (Белинский, 1982: 292–293).

Впрочем, связь со «славянофильством» Шишкова и его круга носила отнюдь не случайный характер. О знакомстве своем с Шишковым и о воздействии, произведенном на него последним в молодые годы, в бытность свою в Петербурге, Сергей Аксаков вспоминал десятилетия спустя: «Я уверовал в каждое слово его книги, как в святыню! Русское мое направление и враждебность ко всему иностранному укрепились сознательно, и темное чувство национальности выросло до исключительности». Уже в 1870 г. Юрий Самарин, один из основных деятелей второго поколения славянофильства, в Берлине издал два тома мемуарных записок и переписки Шишкова, видя в нем предшественника. И тем не менее «славянофильство» на протяжении многих лет не принималось в качестве самоназвания — сын А. С. Хомякова, Дмитрий (1841–1919), еще в начале XX в. отстаивал его неверность и предпочитал говорить о «московском направлении», Иван Аксаков (1823–1886) в начале 1880-х употреблял оборот «так называемые „славянофилы“», подчеркивая, что это имя, данное извне и отнюдь не выражающее существенного характера направления, — поскольку для «славянофилов» собственно «славяне» не были предметом главенствующего внимания и, в свою очередь, далеко не все «славянолюбцы», сторонники идеи «славянской взаимности» и родственных последней представлений, разделяли воззрения, с 1840-х гг. устойчиво ассоциировавшиеся с понятием «славянофильства».

Применительно к «западничеству» в отличие от «славянофильства» сложно говорить о каком-либо устойчивом и достаточно сложном единстве представлений — в этом плане показательно, что собственно «западничество» имело весьма небольшой срок существования: данный идейный комплекс оформился ситуативно, вокруг

нескольких фигур, во многом в оппозиции другим представлениям — и к началу 1850-х исчез, по мере изменения общественной повестки.

По большей части «западничество» — феномен ретроспективный, возникающий в мемуарной литературе, которая формируется весьма рано: прежде всего, это «Былое и думы» Герцена, соответствующие главы которых, посвященные «западникам», «нашим» в терминологии Герцена, появляются в «Полярной звезде» уже в 1858 г., биография Станкевича (1813–1840), изданная Анненковым (1813–1887) в том же году и дополненная собранием его переписки — в эти же годы, чуть ранее, Чернышевский (1828–1889) в «Современнике» дает схему развития русской общественной мысли за предшествующие десятилетия в «Очерках гоголевского периода...». До некоторой степени эта мемориальная традиция приводит к тому, что и завершение славянофильства начинают датировать концом 1850-х гг.: исчезновение из фокуса одной из сторон автоматически лишает конкретности вторую и если «славянофильство» понимается в контексте спора с «западниками», как вторая сторона идейного конфликта, то это определяет и их общую историческую судьбу.

«Западники» и «славянофилы» представляют из себя идейные объединения, построенные по принципиально разному типу, — «западничество», вероятно, является первым образчиком интеллектуального сообщества, выстроенного по позднемодерному типу: оно объединяет единомышленников, для которых их интеллектуальная близость выступает исходным основанием, во многом сгруппировано вокруг журнала. Белинский в 1840 г. писал, что есть «только два средства: кафедра и журнал — все остальное вздор»; «журналистика в наше время все [...]. Журнал стоит кафедры». В данном случае им обо-

значены две основные институции — университет и журнал, позволяющие консолидироваться кругу единомышленников — отличных друг от друга по социальному положению, уровню образования, источникам доходов и т. д. В «западничестве» сошлись и купец, сын известного московского чаеоторговца Боткин, и разночинец, сын уездного лекаря, отчисленный с первого курса университета Белинский, незаконный сын большого московского барина Ивана Яковлева Герцен, богатый помещик Тургенев и живущий службой Кавелин — социальные связи выстраивались уже поверх обретенной идейной близости, вне ее все они не могли бы встретиться и сойтись вместе.

Напротив, славянофилы были, пожалуй, последним значимым идейным объединением, выстроенным по модели, свойственной более ранним временам (по ней же выстраивались в свое время и декабристские общества): все они принадлежали к одному социальному кругу, имели схожий культурный опыт — по существу, они все были «московскими дворянами», не в смысле принадлежности к дворянству Московской губернии (большинство из них были записаны в дворянские книги других губерний), но в том отношении, что традиционно проводили зимний сезон в Москве, в своих собственных домах или съемных, на лето разъезжаясь по имениям или подмосковным. Они были знакомы, находились в родственных или соседских связях, связаны множеством социальных нитей еще до того, как обнаружили идейную близость — последняя формировалась поверх всей толщи социальных отношений, которые их связывали, и потому близость их оказывалась одновременно и глубже, и менее подвержена опасностям расхождения из-за разницы во взглядах.

Александр Бакунин (1768–1854) писал в феврале 1836 г. своему сыну, знаменитому Михаилу (1814–1876) — только вступившему в московскую среду, предупреждая его об опасностях, подстерегающих его среди новых связей, которым тот отдавался с энтузиазмом, порывая с прежними, традиционными общностями:

«Следуй собственному твоему произволу и делай, что хочешь; но будь осторожен — на друзей твоих слишком не полагайся, потому что вашу философическую дружбу малейшее несогласие во мнениях, неосторожное слово не только разрушить может, но даже превратить в ненависть, а вечно друг другу потакать, вечно остерегаться невозможно».

Пожилой отец отчетливо видел опасности, сопряженные с новым типом общности — «философической дружбой»: она строилась на единстве воззрений и оттого изменение в последних неизбежно должно было менять отношения дружбы/приятельства. История «западничества» и представляет из себя постоянный перечень подобных испытаний — разрывов, объяснений, компромиссов и окончательных расхождений. Напомним лишь знаменитый эпизод «последней поездки в Соколово», рассказанный Герценом, — про споры о бессмертии души между ним, Огаревым и Грановским, где последний никак не желал расставаться со своей верой:

«— Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего, — вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

[...] Мы все взглянули друг на друга, и этого взгляда было совершенно достаточно: мы все слишком любили друг друга, чтоб по выражению лиц не вымерить вполне, что произошло».

Произошло то, что в их дружбе оказалась «межа — предел и с тем вместе цензура», «тон и смысл последних слов открывал между нами даль, которой мы не предполагали»: как идейная близость вела к дружбе, так идейное размежевание не позволяло дружбе продолжаться — быть друзьями означало быть единомышленниками или по меньшей мере делать все, чтобы стать ими, идейное расхождение могло быть только временным, тем, что надлежало устранить — переменой взглядов одной из сторон или нахождением иного, третьего, высшего воззрения, которое позволит им примириться. Отсюда особенный характер переписки западников — огромные послания, которыми обмениваются Белинский, Бакунин, Герцен, анализируя других и давая самоотчет сами себе: самонаблюдение и постоянная работа над собой и над другими — неперемнное условие.

В случае со славянофилами — все совсем иначе. Разумеется, есть общие черты — так, письма Константина Аксакова, члена кружка Станкевича, человека романтической культуры, как и письма молодого Юрия Самарина, по стилю весьма отличные от посланий Белинского или Бакунина, по типу оказываются родственными им. Однако эти черты отнюдь не становятся определяющими — для славянофилов, в отличие от западников, нет потребности в постоянном «исповедничестве» друг перед другом, равно как нет и настойчивой потребности полноты единомыслия, болезненного внимания к идейным расхождениям. Их связывает слишком многое, чтобы придавать столь большое значение каждому оттенку мысли

и обороту фразы — не потому, что последние не ценятся, а потому, что от них не зависит, продолжится ли дружба и близость, или же им придет конец.

Историю славянофильства в узком смысле слова принято начинать с 1839 г., когда в одном из московских салонов встретились Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) и Иван Васильевич Киреевский (1806–1856). Знакомые с молодых лет, вхожие в одни и те же интеллектуальные круги, они на протяжении многих лет не виделись — и с тем большим удивлением обнаружили схожесть своих нынешних воззрений, поскольку почитали себя одиночками и не надеялись найти единомышленника. Дабы обсудить свои воззрения, не стесняясь случайностями и торопливостью салонной беседы, они обменялись текстами, в которых изложили свои воззрения, — Хомяков написал статью «О старом и новом», а Киреевский — «Ответ А. С. Хомякову». Однако все-таки правомернее, на наш взгляд, относить собственно начало славянофильства к несколько более позднему времени — к началу 1840-х, когда с Хомяковым и Киреевским сошлись молодые Константин Сергеевич Аксаков (1817–1860) и Юрий Федорович Самарин (1819–1876). Аксаков и Самарин в это время оба готовились к защите диссертаций, окончив Московский университет, — Аксаков был старше, работал над исследованием, посвященным Ломоносову, к этому времени прошел через кружок Станкевича, но в психологическом плане был человеком менее зрелым, чем Самарин, сын богатого самарского помещика, внук Нелединского-Мелецкого, крестник императрицы Марии Федоровны. В отличие от своего старшего приятеля, Самарин, с молодых лет получивший основательную ученую подготовку и определенный к большой государственной карьере, был человеком внутренне собранным и сильным — их дружба,

продолжавшаяся всю жизнь, была, как то нередко бывает, схождением крайностей — увлекающийся и редко способный что-либо довести до конца, поэтичный, страстный Аксаков и сдержанный, методичный, строгий в первую очередь к самому себе Самарин нашли друг в друге то, чего им не доставало. Они жили философией Гегеля, воспринимая ее как последнее слово человеческой мысли — не в смысле интеллектуальной новинки, но полноты откровения, — и оба они восприняли от университетских наставников, Погодина и Шевырева (у Аксакова к этому добавлялось семейное влияние), патриотизм и ранние националистические настроения.

Встреча представителей двух поколений вывела обсуждение историософских вопросов за пределы частных бесед — возникло сообщество, где были разные исходные перспективы (философия Шеллинга для Хомякова и Киреевского, для последнего большое значение имели идеи именно позднего Шеллинга, времен «философии откровения», с которыми он был неплохо знаком до того, как они были опубликованы; философия Гегеля для Аксакова и Самарина), но наличествовала значительная идейная общность и, что важнее всего, общая перспектива. На самом общем уровне наличествовала единая идейная перспектива, задававшаяся историософской рамкой — вопрос стоял об историческом месте России и ее предназначении.

Данная постановка вопроса являлась общей для целого этапа русской мысли, периода усвоения и развития романтических представлений, с начала 1820-х гг. Характеризуя начальные моменты этого периода, А. Койре писал: «[...] чисто философские проблемы сочетались в сознании *любомудров* (как, впрочем, и всех романтиков) с национальной проблемой, [...] их философские концепции определялись романтической идеей изначального

единства философии и искусства, целостно выражающих глубинную сущность души (индивидуальной души художника и философа, либо коллективной души народа). Она соединялась со столь же романтической идеей органического развития духовной сущности нации, постепенно осуществляющейся и раскрывающейся в ее истории, искусстве и литературе». В рамках данного общего видения были возможны весьма различные конкретные истолкования — так, в статье «Девятнадцатый век» (1832) И. В. Киреевский писал:

«Нам нечего бояться утратить своей национальности: наша религия, наши исторические воспоминания, наше географическое положение, вся совокупность нашего быта столь отличны от остальной Европы, что нам физически невозможно сделаться ни французами, ни англичанами, ни немцами. Но до сих пор национальность наша была национальность необразованная, грубая, китайски неподвижная. Просветить ее, возвысить, дать ей жизнь и силу развития может только влияние чужеземное, и как до сих пор все просвещение наше заимствовано извне, так только извне мы можем заимствовать его и теперь, до их пор, покуда не сравнимся с остальною Европою. Там, где *общеевропейское* совпадает с нашею *особенностью*, там рождается просвещение истинно русское, образованно-национальное, твердое, живое, глубокое и богатое благодетельными последствиями».

Иными словами, в данном случае для Киреевского вопрос о том, как быть «вполне русским», совпадает с вопросом, как быть «вполне европейцем», поскольку до сих пор, именно в силу неполноты, «неподвижности нашей национальности», европейская образованность не могла быть усвоена вполне, сохраняя поверхностный, наносной характер — «русский европеец» оказывался в итоге не

вполне русским и не вполне европейцем. Удачно формулируя мысль Киреевского, как она отразилась в статье «Девятнадцатый век», А. Койре пишет:

«Глубокое различие между Россией и Западом связано с ролью классического наследия, причем не столько самого по себе, сколько как составной части западного христианства. Пока западная цивилизация оставалась проникнутой духом религии, она была *католической* цивилизацией, и Россия не могла в ней участвовать. Ситуация стала иной вместе с установлением светской цивилизации XVIII в., сформировавшейся в противостоянии с тем, что ей предшествовало. Цивилизация XVIII в. была новым началом, и, уже не будучи религиозной, она сумела проникнуть в Россию и играть роль *фермента*, общего для всех и тем самым способного сделать Россию частью цивилизованного человечества. Реализуя фазу антитезиса для Запада и тезиса (или отрицания предшествующего небытия) для России, цивилизация XVIII в. подготовила — с участием России — синтез христианской цивилизации, той эпохи воплощения, о которой столь красноречиво говорил Шеллинг, которая, будучи религиозной и христианской, уже не будет заключена в узкие рамки одного вероисповедания или одной церкви».

В интеллектуальном плане время конца 1820-х — начала 1830-х представляет эпоху, когда большая часть элементов будущего славянофильства уже наличествует — так, Киреевский ближе к славянофильству в конце 1820-х, чем в начале 1830-х, своего рода колеблясь в выборе пути. Сходные рассуждения встречаются у Чаадаева или у Погодина, при всем различии интеллектуального масштаба названных фигур: перед нами запрос на национальную концепцию и набор элементов, которые собираются по известным правилам. Так, в трихотомии-

ческие или тетрахономические схемы легко можно играть самым разнообразным образом, выбирая порядок элементов и их расстановку: например, можно, разделив христианство на западное и восточное, искать некоего высшего синтеза, или же, избрав в качестве элементов классификации православие, католичество и протестантизм, видеть в православии исходное начало, недифференцированное основание, или же ту самую истину, которая в односторонности западных исповеданий утрачивается.

Быть народом историческим — значит вносить свой вклад в мировое целое, быть народом творческим — и с этим пониманием связана острота споров 2-й половины 1820 — 1-й половины 1830-х гг. о наличии или отсутствии русской литературы. В ответ на сомнения Вяземского, на предстоящее еще заявление Белинского — Киреевский отвечает, находя положительное содержание (1829). Теория требует от народа исторического нового слова, творчества — не литературы как подражания, не воспроизведения литературных форм, а принципиально нового. Если для предшествующих споров характерно требование, поиск этого «нового слова», то Киреевский предлагает ответ — находя национального поэта в лице Пушкина:

«Мало быть поэтом, чтобы быть поэтом народным; надобно быть еще воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты — словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выражая себя».

Уже в 1830 г. Киреевский пишет: «нам *необходима* философия [...]. [...] Конечно, первый шаг к ней должен быть присвоением умственных богатств той страны, ко-

торая в умозрении опередила все другие народы. Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. *Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта. Когда и как — скажет время; но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели».*

В логике Киреевского — как и в целом романтическом воззрении — нет противоречия между универсальным, вселенским и национальным. Но отношение между универсальным и национальным может толковаться двояко:

— либо «национальное» рассматривается как конкретное проявление «всеобщего», поскольку последнее может реализовываться только в какой-либо конкретной форме — всеобщего как всеобщего самого по себе не существует в пределах этой реальности, связанной условиями пространства и времени. Великое произведение искусства, будучи выражением всеобщего, всегда несет в себе черты своего места и времени — более того, именно последние и придают ему универсальность: логика всеобщего предполагает, что все заключено во всем и тем самым чем полнее выражено конкретное не в своей обособленности, но подлинным образом, во взаимосвязи, тем полнее будет выражено и универсальное. Холодный классицизм потому и холоден, что пытается непосредственно говорить на языке универсального — тем самым оказываясь не говорящим ни с кем конкретно, напротив, обращаясь к излюбленным примерам немецких романтиков, «Дон Кихот» Сервантеса или трагедии Шекспира, будучи вполне, в гораздо большей

степени, чем многие современные им произведения, воплощениями своего, национального духа — испанского в «Дон Кихоте», английского у Шекспира, становятся текстами, обращенными ко всем. Отсюда следует, что стремление к «национальному» и стремление к «универсальному» не только не противоречат друг другу, но, будучи должным образом понятыми, оказываются единым стремлением — быть человеком вполне можно будучи только личностью, быть частью человечества возможно, только воплощая себя. «Всеобщее», как уже сказано, в этой логике всегда воплощается как-то конкретно — и, следовательно, «национальные», «народные», «личностные» его воплощения реализуют «всеобщее» единственно возможным способом: множество отображений не противоречат друг другу, а дополняют, раскрывают с одного ракурса то, что остается невидимым с другого;

— либо «национальное» предстает воплощением «всеобщего», выстроенным по иерархическому принципу, — история дает нам последовательность таких воплощений, все более приближающихся к истинному. Тогда исторически предшествующее оправдано в своем времени, но вместе с тем оказывается меньшим по отношению к последующему — «национальные» образы универсального образуют последовательность по направлению к абсолютному, совершенному воплощению — в этой логике притязание на истину «национального» воплощения вытесняет иные, конкурирующие с ним: «всеобщее» воплощается различно, но эти воплощения не равноправны. Тем самым утверждение своей национальной точки зрения понимается как притязание на абсолютное — она способна постигнуть и вместить в себя истину предшествующих, в отличие

от них, которым истина высшего понимания остается недоступна*.

В истории раннего русского современного национализма можно видеть переплетение двух названных вариантов прочтения «национального», с понятной склонностью ко второму прочтению, поскольку национализм является формой мобилизации — и тем самым не только обосновывает возможность, правомерность отличного, особенного, но и его преимущество, т. е. то, что побуждает придерживаться именно этой позиции, в отличие от иных возможных.

Различие между взглядами Киреевского конца 1820-х — начала 1830-х и конца 1830-х, когда он, вместе с Хомяковым, становится основоположником славянофильского направления русской мысли — не в философской рамке осмысления национального, но в том, что в построениях начала 1830-х православие отнюдь не предстает еще выражением истины христианства по отношению к прочим христианским деноминациям, и русский народ не мыслится в первую очередь как «народ

* Обратим внимание на еще один значимый аспект, возможный в рамках данной логики, раскрываемый А. Койре: комментируя воззрения Киреевского конца 1820-х — начала 1830-х гг., он писал: «то, что он считал роль Европы завершенной, было связано как раз с ее совершенством, вызывавшим его восхищение. Европа, по мысли Киреевского, сказала все, что могла сказать; она принесла в общую сокровищницу человечества все свои богатства; она пришла к совершенству. Но совершенство есть завершение, это конец в двояком смысле слова: и конечная цель, и остановка. Затем может последовать только стагнация, предшествующая упадку и неизбежному загниванию, — эти явления присущи всему живому. Чтобы продвинуться далее, нужны новые силы, требуется молодой организм. [...] По отношению к Западу Россия является наследницей, на которой сходятся все надежды семейства. Она получит все богатства, накопленные веками труда, весь опыт своих предков» (221, 222).

православный», «народ христианский» по существу. Когда к концу 1830-х оформится этот новый взгляд на русский народ, тогда романтическая концепция претерпит существенное изменение — тогда «русское начало» станет воплощением полноты «вселенской истины», воплощением неполным, но адекватным — в отличие от иных, искажающих его: русский народ окажется, как сформулирует этот тезис Константин Аксаков десятилетием позже, христианским по природе своей. Тогда мировая история приобретет следующий вид:

- (1) русский народ по своим исходным качествам, природенным свойствам настолько близок к христианству, насколько это возможно без благодати — его душа в максимальной степени является «христианской по природе» (Бл. Августин), вне христианства он выступает как «христианин до Христа», по аналогии со знаменитым образом применительно к Платону — важно отметить и все ограничения этого образа, ведь подобное приближение все равно не закрывает пропасть, отделяющую от истины в христианском понимании: естественного пути к Богу не существует, Бог противостоит миру и сколь бы ни был человек или народ близки к Нему, от Него их отделяет бесконечность (тем самым степени приближения оказываются конечными, тогда как отделение от цели — бесконечным, следовательно, сравнение имеет какой-то смысл только между народами, но не по отношению к Богу, перед которым каждый в равной степени отдален и не может преодолеть это расстояние без Божественной помощи);
- (2) христианство, принятое русским народом, есть вполне истинное христианство — православие, сохранившее истину веры без всякого погрешения. В христи-

анстве русский народ находит самого себя — отсюда и имя, принятое простонародьем и применяемое к нему: «христиане», «крестьяне» — русский человек как таковой является собственно христианином, и чем ближе он к христианству в его истине, тем ближе он к выражению сущности народного духа. Но поскольку христианство есть вселенская истина, то русский народ оказывается ее носителем в мире — на данный момент он лишь ее хранитель, его качества позволили ему, в отличие от народов Запада, сохранить ее в полноте, непогрешимости, однако следующий этап — раскрытие полноты той истины, которая до сих пор остается не вполне осознана и самим русским народом;

- (3) итогом данного движения станет полное осознание истин православия, доступное для русских мыслителей — здесь мировая истина станет истиной-в-себе-и-для-себя, приняв адекватную самой себе, т. е. истинную форму, до этого пребывая в состоянии инобытия, отчужденности от самой себя, т. е. частичной истинности (тождественной с частичной неистинностью).

Отсюда вытекает большое значение полемики против западных вероисповеданий — в ней со стороны славянофилов в первую очередь заметны Хомяков, написавший серию вышедших первоначально по-французски брошюр, и Юрий Самарин, уже в 1860-х выступивший с рядом писем против иезуитов. Логика, к которой обращаются славянофильские философы и публицисты, достаточно проста и во многом уже проговорена выше — истина конкретна, истинное знание может быть только знанием целостным, т. е. охватывающим всего человека и всецело принадлежащим ему — следовательно,

поскольку, во-первых, человек не является самостоятельным, независимым от других существом, но есть существо социальное, то истина возможна только как человеческая, принадлежащая определенному сообществу. Во-вторых, поскольку истина целостна, то она выходит за пределы рассудка, более того, разум в меру своей разумности постигает свою ограниченность — истина, следовательно, сверхразумна (но не противоразумна). Поэтому полноту истины человек постигает не только в человеческом сообществе, но в сообществе, которое больше человеческого — т. е. в богочеловеческом союзе, Церкви. В-третьих, полнота истины является единством (здесь мы встречаем очень старый, присущий неоплатонической традиции, ход мыслей) Истины, Блага и Красоты — т. е. абсолютная истина есть одновременно полнота блага и совершенство красоты, противостояние, например, блага и истины возможно только в их ограниченности, неполноте — чем истиннее истина, тем она прекраснее и добрее, соответственно, и подлинное благо не может противоречить истине, как и красота не может противостоять добру в их пределе, что не отменяет конфликтов между ними в той мере, в какой они не являются полным воплощением своих начал.

Из этих предельно кратко набросанных оснований вытекает, что ложность западных вероисповеданий — в их ограниченности, они исказили христианство своим уклонением от его полноты, развитием одного из начал в его односторонности (вполне и схематично эту логику уже в 1870-х продемонстрирует в своей магистерской диссертации молодой Вл. Соловьев):

— католицизм искажает христианство через замену принципа «любви», дарующего подлинное единство,

формальным, построенным на начале авторитета внешнего, видимого — это внешнее начало вытекает из «рационализма», рассудочности — т. е. разума, лишённого сознания своей ограниченности: тем самым (вопреки позднейшим упрекам со стороны Вл. Соловьева, видевшего в этом противоречивость славянофильской мысли) внешний авторитет и рассудочность для Хомякова выступают двумя сторонами одной и той же ложной идеи — так же, как церковная схизма, вызванная вроде бы малозначительными разногласиями, демонстрирует фундаментальное расхождение — недостаток любви со стороны западного вероисповедания, его готовность внести изменение в Символ Веры (*filioque*) в силу одного лишь своего понимания, без совета с другими поместными церквями;

— католицизм, проводящий принцип рассудка и подчинения внешнему авторитету, порождает свою противоположность, протест личности, опирающейся на разум вопреки авторитету — утверждающей право каждого самому пользоваться своим умом: но индивидуальный разум является неполным и протестантизм, справедливый в своем протесте католичеству, в результате утрачивает реальность Церкви, не понимая ее сверхприродной реальности и толкуя как собрание верующих — каждый сам предстоит перед Богом, на свой страх и риск толкуя Писание.

Понятно, что православие в этой логике должно быть высшим итогом — Самарин первоначально, в своей диссертации, посвященной Стефану Яворскому и Феофану Прокоповичу, толкует этих двух иерархов русской православной церкви как выражение, соответственно, католических и протестантских симпатий. Вопрос о возможности православного богословия решается в этой

работе Самариным исключительно негативно — каждая формализация приводит к уклонению и в этом смысле всякая богословская система является не вполне православной, только взаимное исправление уклонений позволяет нейтрализовать их вредное влияние: православие же в богословском плане оказывается безмолвным, как невыразимая полнота истины. Столь же предсказуемо подобный вывод не мог быть приемлемым для Хомякова — поскольку православие должно было стать не исходным, недифференцированным основанием, а высшим итогом, сохраняющим основание (т. е. быть и истиной-в-себе и истиной-в-себе-и-для-себя). В скором времени и сам Самарин согласится с этой критикой, в дальнейшем понимая Хомякова как первого представителя русского светского богословия — того, в чьих трудах начинает раскрываться истина православия, делается доступной для сознания вполне просвещенного, одновременно раскрывающего ограниченность последнего.

Та схема соотношения православия и русского народа будет вполне сформулирована достаточно поздно, к 1850-м гг. — и в ней сохранится внутреннее напряжение, характерное для славянофильства в понимании соотношения русского национального и «всеобщего», «универсального», отмеченное выше применительно к романтизму. Славянофильство будет демонстрировать колебания по линии напряжения вселенское/национальное — с одной стороны, подчеркивая, например, вселенский характер православия и понимая внешнюю политику как религиозную, дело освобождения единоверцев. В начале Крымской войны среди славянофилов будет распространено понимание начавшегося конфликта как «крестового похода», «священной войны» за освобожде-

ние единовѣрных братьев — в этом проявится и другая составляющая, акцентированная через понятие «братьев», «братских народов», т. е. принцип «славянской взаимности», однако для его полноты будет необходимо и религиозное единство. Из этого вытекают, например, могущие показаться странными устойчивые в славянофильском кругу идеи о близком к православию характере гуситского движения в Чехии, связываемые с изначальным обращением чехов и моравов в христианство проповедью Кирилла и Мефодия, обсуждение перспектив обращения в православие поляков и т. п. — славянская общность в славянофильстве никогда не мыслилась исключительно как этническая, в то время как славяне понимались сущностно как православные — и отпадение от православия вело к более или менее глубокому, окончательному или временному, отпадению от славянского мира.

Соответственно, и само православие толковалось то как «русская вера», «вера русского народа», то сам русский народ сущностно определялся через православие — понятно, что окончательной определенности в этом вопросе быть не могло, поскольку любое из альтернативных решений было нежелательным. Иван Аксаков в объявлении об издании газеты «Парус» писал: «Наше знамя — русская народность, как залог новых начал, полнейшего жизненного выражения общечеловеческой истины». Отзываясь на эти слова, Кошелев полемически заостренно передавал дух более раннего славянофильства, утверждая:

«Программа ваша хороша, очень хороша; но жаль, что вы выставили знаменем не вещь, а форму... Одна народность не доведет еще нас до общечеловеческого

значения... Вера, одна вера может... создать нечто органическое. Ее-то вы, по ложной стыдливости, боитесь ставить... во главу угла. Без православия наша народность — дрянь. С православием наша народность имеет мировое значение. Как ваша программа ни хороша, а ее подписать я бы не мог».

* * *

Если вернуться к началу главы, к схеме, предложенной Герценом, то в нынешней оптике размежевание, очерченное им, предстает существенно иным: Чаадаев был поздним отзвуком утратившей свои перспективы имперской программы — универсального видения Российской империи как христианского царства; славянофилы, в отличие от декабристов исходившие из романтического понимания нации, сформулировали, переинтерпретируя официальную доктрину, свое понимание «народности», наполнив его положительным содержанием — русский народ этой концепции представал в первую очередь «народом христианским», однако, в отличие от чаадаевского понимания, это было конкретно-историческое христианство, не в смысле освящения всех существующих практик, но как идеал, в этих практиках обнаруживаемый (или вычитываемый): «народность» наполнялась образами, делалась зримой — и тем самым, конкретизируясь, оказывалась не только тем, к чему апеллируют, но и что способно со своей стороны предъявлять требования. Со своей стороны «западничество» выступило наименее определенным в интересующем нас национальном аспекте направлением — оно одинаково включало в себя и универсальное имперство, и гражданский национализм: в принципе, между ними не было фундаментально-

го расхождения, поскольку имперское содержание «западничества» было освобождено от религиозной составляющей — империя была определенным политическим порядком, нейтральным, и ее легитимация заключалась в исполнении ею роли «агента модернизации». До тех пор, пока империя исполняла эту функцию — и до тех пор, пока не возникало принципиальных сомнений в ее эффективности в этом отношении, — она не подвергалась сомнению.

ЛЕКЦИЯ 5. СОПЕРНИК «БОЛЬШОЙ РУССКОЙ НАЦИИ»

Центр украинофильства в великороссофильстве. Как только мы теряем универсальность, мы получаем вокруг себя сепаратизм. Мы от идей великого Рима возвращаемся к Лациуму первых консулов, а где Лациум — там и враждебный ему Самниум. После Петра Великого бороться с «Кобзарем» Тараса Шевченко все равно, что после Брюллова и Репина возвращаться к лубочным картинкам в издании Ровинского. Петр Великий выучил бы сам и для себя какую-нибудь «думу», ввел бы бандуру и казачка в какое-нибудь роскошное петербургское уличное представление, и этой любовью, этой переимчивостью прихлопнул бы навсегда малороссийский культурный вопрос [...]. Август римский всех чужеродных богов сносил в Пантеон; и все боги умерли, кроме Юпитера.

В. В. Розанов (1902)

Обращение к истории украинского национального движения в рамках истории русского национализма является неизбежным по нескольким причинам. Прежде всего, русский и украинский национализмы были во многом «близнецами», а во многом — зеркальными отображениями: понятно, что в первую очередь эта «зеркальность», реактивность относится к украинскому движению, однако по мере его развития все более усиливалась и ответная аналогичная реакция. Русский национализм XIX в., возникнув и развиваясь в имперской рамке, был национализмом «большой русской нации» — иными словами, украинский и русский на-

ционализмы являлись взаимоисключающими, в отличие от русского и польского: столкновение последних определялось спором о границе. Принципиально существование другого признавалось, вопрос был в том, где провести границу между польскими и русскими землями, что считать решающим национальным критерием — принадлежность к конкретной нации местного дворянства или, например, простонародья, крестьянства, определять по языку повседневного общения или по вероисповеданию, значима ли самоидентификация, или решающим должны быть исторические основания, а если последние, то до какой степени вглубь истории надлежит идти. Противостояние польских и русских национальных проектов было вопросом демаркации — и вопросом о том, в какой степени эти национальные проекты должны определять или видоизменять имперскую политику. Напротив, украинское национальное движение оказывалось несовместимо с концептом «большой русской нации», если понимать последнюю как вариант активной политики унификации и культурного строительства. Соответственно, со стороны русского национализма реакция на украинский определялась следующим образом:

— в своих предельных целях образования самостоятельной украинской нации он был одинаково неприемлем для всех сторонников «большой русской нации» независимо от конкретных вариантов понимания последней;

— в умеренном варианте, включенном в имперскую рамку, позиция по отношению к нему была гораздо более разнообразной. Во-первых, сам язык национализма был в 1850–1860-х для многих нов и непонятен — в том числе и для значительной части имперской бюрократии, мыслившей за пределами данных категорий. Во-вторых, и среди самих русских националистов наблюдалось существенное разнообразие позиций. Компромиссный

вариант со стороны сторонников «большой русской нации» определялся тем, что выступало базовым критерием национальной принадлежности, — так, для славянофилов, рассматривавших в качестве последнего восточное православие и, теснее, принадлежность к русской православной церкви (что создавало «гибкую идентичность»: православные рассматривались как единая общность, из числа которой выделялись «соплеменники», славяне*, русские же православные, принадлежащие к одной поместной церкви, образовывали ядро национального сообщества — вместе с раскольниками, отчего вопрос преодоления церковного раскола XVII в., снятия клятв, наложенных собором 1667 г., был для славянофилов в ряду важнейших), украинофильский проект в течение длительного времени воспринимался как предмет переговоров и соглашений, поскольку для украинофильства 1840-х — начала 1860-х, в первую очередь в лице Костомарова, украинство понималось через православие и конфессиональный критерий был основным критерием демаркации с польским национализмом. Ситуация существенно изменилась с развитием украинского движения в Галиции и стремлением образовать проект «большой украинской нации», в котором конфессиональный фактор либо сохранял свою значимость, но теперь общность обосновывалась через принадлежность к «восточному обряду», либо на передний план выходил культурный, в первую очередь языковой, фактор.

В отличие от славянофилов, для катковского национального проекта (см. гл. 6) базовыми критериями вы-

* В свою очередь неправославные славяне входили в «славянскую общность» культурно-языкового плана, однако для славянского единства, на взгляд славянофилов, требовалась и церковная общность.

ступали (а) подданство и (б) культурная принадлежность, в первую очередь язык — т. е. образование единого культурного пространства. С этих позиций украинский национализм и в своем украинофильском, раннем варианте оказывался неприемлем, поскольку катковский национальный проект мыслился в качестве принципиально секулярного.

Когда речь идет о национальных движениях, то следует постоянно иметь в виду, что «украинский», «русский» или какой угодно еще национализм представляет из себя целый веер национальных проектов — разных видений нации, расхождения в критериях включения и исключения, представлении о национальной территории и т. д. В данном очерке мы кратко обрисуем основные аспекты развития украинского национального движения в его ранних фазах, в то время, когда оно оставалось еще почти исключительно предметом дебатов интеллектуалов, т. е. до выхода в сферу массовой политики, и лишь пунктирно обозначим дальнейшие основные линии развития.

* * *

Обращаясь к периодизации истории украинофильства, прежде всего необходимо отметить, что оно достаточно тесно связано с донационалистическими течениями малороссийской общественной мысли. Ключевую роль в формировании новой идеологической программы играло наследие Гетманата. Как отмечал Зенон Когут, специфика политики имперских властей в конце XVIII — первые десятилетия XIX в. способствовала формированию среди наследников гетманской старшины довольно отчетливого оппозиционного политического самосознания.

Если в период двух первых третей XVIII в. позиция старшины заключалась в отстаивании автономии, то в последней трети XVIII — начале XIX в. вопрос во многом переключился в иную плоскость — в спор о способах интеграции старшины в состав российского дворянства. Показательно, что депутаты, посланные от Малороссии в Уложенную комиссию в 1767 г., отказывались (наряду с депутатами от Остзейских губерний) участвовать в обсуждении общих законодательных мер, поскольку таковые мыслились их не касающимися — как территории, находящейся на особых условиях управления с отдельными узаконениями. Соответственно, старшина выступала против уравнивания себя с имперским дворянским сословием, в обеспечение своих особых прав. После того как в период с конца 1760-х до 1790-х автономный статус был в большей своей части ликвидирован, возник вопрос о статусе местной старшины и шляхты. На первом этапе возобладавшее решение о приравнивании к российскому дворянству в 1790-е натолкнулось теперь уже на сопротивление со стороны центрального правительства и имперского дворянства, поскольку количество претендентов на дворянство на территории Гетмана оказалось несопоставимо (с численностью дворян в великороссийских губерниях) велико. В конечном счете проблема оказалась к 1830-м гг. решена так, как ее предполагалось решить с самого начала — практически все, кто к 1790-м гг. претендовал на дворянство, или их наследники, его получили — либо через признание Герольдией, либо выслужив дворянство — однако сама ситуация на протяжении более чем тридцати лет, т. е. жизни практически двух поколений, оказывалась весьма болезненной (поскольку должности, занимаемые ранее в Гетманате, не были приравнены к общеимперским чинам — и, соответственно, лица, занимавшие эти

должности, и их наследники не имели права апеллировать к табели о рангах, на этом этапе преимущество получили те выходцы из Гетманата, которые уже ранее поступили на службу за его пределами).

Тем самым для местной старшины и шляхты в рамках диалога с центральной властью оказалось принципиальным отстаивать два тезиса (связанные между собой, но первый из которых сформировался существенно ранее):

— во-первых, автономия Гетманата и его вхождение в состав Московского царства на условиях договора (откуда значимость утверждения о договорных статьях, «утвержденных» на Переяславской раде 1654 г.) и сохранение данного статуса вплоть до последующих времен. Гетманат/Малороссия в этом случае рассматривались как самостоятельное образование, соединенное унией с Московским царем/императором;

— во-вторых, шляхетский, дворянский характер казачьей старшины — отсюда значимость «рыцарства», «рыцарственных преданий», уравнивания с польской шляхтой — и через это с европейским дворянством, т. е. с теми, чей статус сомнению не подвергался.

Первый тезис сам по себе был автономен от второго, но второй зависел от первого. Если Малороссия вошла под власть Московского государя на условиях соглашения, то власть последнего была обусловлена соблюдением данных условий — с обеих сторон. Примером исторического памфлета, направленного в обоснование данной позиции, служит известная «История Русов», создание которой приходится на конец 1810-х гг., — в ней, прежде всего, подчеркивается верная и славная служба малороссийского козачества государю и, с другой стороны, исчисляются нарушения малороссийских прав-привилегий со стороны центральной власти — оба эти

сюжета в действительности образуют единую аргументацию, а именно доказывают, что стороной, не соблюдающей свои обязанности, является центральная власть, несмотря на то что козачество верно, с честью и славой, исполняет свои.

В данном случае речь идет никак не о «национальной» проблематике, а о правах сословия и о правах «земли» — подразумевается, что если имперская власть не соблюдает условий соглашения, то она поступает несправедливо/неправосудно, и подразумевается, что противная сторона в принципе может ставить вопрос о расторжении соглашения по условиям его неисполнения — но эта часть аргументации служит лишь подкреплением тезиса о необходимости предоставить малороссийской старшине и шляхетству права русского дворянства, поскольку оно обладает, в действительности, более высоким рангом — равным со старой польской шляхтой (т. е. требует себе меньше, чем могла бы требовать по праву — образуя симметрию с общей логикой изложения, когда Малороссия оказывается верной, несмотря на неверность другой стороны).

Подчеркнем вновь, что для шляхты и старшины речь шла никак не о «народе» в современном смысле слова, «нации» и т. п. — а о своем месте в имперской иерархии. Культивирование исторических преданий и воспоминание-создание «исторических прав и привилегий» имело своей целью улучшить собственные позиции и добиться наиболее приемлемых условий конвертации своего прежнего статуса в новый.

Принципиально важную роль в складывании раннего украинского национализма играло сочетание ряда обстоятельств:

— во-первых, затянувшееся неопределенное положение части гетманской старшины — при этом наиболее

значительную роль в формировании новых представлений и в защите привилегий играли не те, чей статус, собственно, подвергался сомнению, а весьма обеспеченные и достаточно интегрированные в общеимперскую систему — они выступали лидерами, центрами объединения недовольных — за счет сохранявшихся местных социальных связей;

— во-вторых, длительность этого неопределенного положения и необходимость не только отстаивания своей позиции вовне, но и (а вероятно, и в первую очередь) укрепления внутренней солидарности привели к тому, что получили хорошо продуманную и разработанную идейную позицию, развитый на основе предшествующей козацкой традиции набор исторических образов и историческое предание — которое затем оказалось воспринято национальным движением, наследовавшим его, соответствующим образом переинтерпретировав, а не будучи вынужденным конструировать вновь (что привело, отметим попутно, к сравнительно небольшой «исторической глубине» романтического мифа, отсылающего в данном случае к XVI в. и последующим событиям — и образованию близкой к тавтологичности спайки «козак» — «украинец»);

— в-третьих, формирование и развитие этой идейной позиции происходило в условиях начавших складываться национальных движений — почти синхронного польского и немецкого, а вслед за тем «славянского возрождения» 1820-х — 1840-х гг. Это привело к тому, что она смогла быть подхвачена и унаследована новым движением и одновременно последнее смогло не только получить живую связь с традицией, но и поддержку со стороны защитников «гетманской старины»: антиквары, местные наследники старшины, живущие родовыми и местными преданиями, культивирующими и модифицирующими их как

фактор собственной идентичности, и молодые националисты оказались тесно взаимодействующими — причем вплоть до 1860-х без сколько-нибудь заметных противоречий, поскольку, при разнице устремлений и идейных позиций, в практическом плане почвы для разногласий не существовало.

Впрочем, возводить «украинофильство» генеалогически исключительно к наследию Гетманата — принципиально неверно. Собственно, то, что можно назвать «украинофильством» (сложности данного понятия мы уже касались выше) в принятом в данной работе смысле, образовалось в рамках круга, так или иначе причастного к Кирилло-Мефодиевскому обществу: как и большинство, если не все, из интеллектуальных направлений XIX–XX вв., оно имеет в своем источнике очень небольшой состав участников и ограниченное время формирования, своего рода «дружеский круг».

Отметим, что само «Кирилло-Мефодиевское общество» в строгом смысле слова не включало целый ряд основных деятелей украинофильства — образованное Костомаровым (1817–1885), Белозерским (1825–1899) и Гулаком (1821–1899) в 1845 г. в Киеве, когда был написан устав и создана Костомаровым «Книга Бытия Украинского народа», оно уже к следующему году фактически прекратило свое существование. Однако пользоваться этим понятием приходится в том числе и потому, что круг причастных хорошо очерчивается материалами следственного дела 1847 г. — т. е. входящих не в «тайное общество» романтического типа, следствие увлечений Костомарова, а к не имеющему формальных границ кругу более или менее единомыслящих молодых людей, чувствительных к национальной проблематике.

Нам представляется продуктивным выделить следующие основные периоды — сочетая в периодизации как

внутреннюю эволюцию направления, так и влияние внешних обстоятельств, нередко принципиальное для понимания его развития:

- (1) 1830–1844 — протопериод, время индивидуального формирования взглядов, первичного усвоения национальной проблематики, первых опытов выражения своих представлений. В этот период основную роль играет Харьков — местный университет оказывается центром выработки и распространения соответствующих настроений, в Харькове выходит целый ряд изданий на украинском языке, к нему — в том числе благодаря учебному округу — оказываются тяготеющими разделяющие соответствующие настроения деятели из Полтавщины и т. д.
- (2) 1844–1847 — киевский период, время знакомства и бурной деятельности всех основных участников движения — Кулиш (1819–1897) в это время стремится к академической карьере, одновременно приступая к написанию своего главного художественного произведения, «Черная Рада»; Костомаров вовлечен как в преподавательскую, так и исследовательскую работу, задумывает и начинает писать «Богдана Хмельницкого», знакомство с Шевченко (1814–1861), уже с Харьковских лет почитаемого Костомаровым (Кулиш знаком с ним с 1843 г.), закладывает многолетнюю дружбу. На волне как обретенного круга единомышленников, так и общественного подъема в Западной Европе, сказывающегося в России (это время оживленной полемики западников и славянофилов, деятельности кружка петрашевцев и т. д.), вызревает ранний вариант украинофильства — романтического национализма, мыслящего Украину (по аналогии с мицкевичевским польским мессианством) как Христа среди народов, будущий центр славянского мира, долженствующий

возвестить ему и через него остальному миру истинные начала свободы, федеративный союз народов — равных с равными, построенный на принципе братства, т. е. свободный от польского аристократизма и московского подчинения власти. Молодые увлечения заходят довольно далеко — так, в 1847 г. в «Звездочке» Ишимовой Кулиш публикует небольшие заметки об истории Украины, в которых вполне ясно утверждает, что Украина при ином стечении обстоятельств могла бы в XVII в. обрести независимость — и явно сожалеет о том, что подобного не произошло. Примечательно, что это и целый ряд других обстоятельств попадают в фокус внимания властей только после доноса, с которого начинается дело Кирилло-Мефодиевского общества, — причем внимание властей привлечено не столько украинской проблематикой, сколько славянской, по этому же делу будет арестован и Ф. Чижев (1811–1877), возвращавшийся из славянских земель, в 1849 г. кратковременный арест настигнет Ю. Ф. Самарина и И. С. Аксакова — «славянское возрождение» вызывает опасения и как фактор распространения либеральных идей, и как способный дестабилизировать отношения между державами на Балканах, вызвать обострение отношений с Австрией и т. п. (напротив, публикация, например, «Истории Русов» в ЧОИДР в 1846 г. привлечет развернутое политическое обвинение лишь спустя двадцать четыре года, в выступлении Г. Карпова (1839–1890), равно как идеологически приемлемыми станут и другие публикации козацких летописей, предпринятые О. Бодянским (1808–1878) — кара обрушится на него совершенно по другому поводу два года спустя, когда он предпримет в тех же редактируемых им книжках ЧОИДР издание сочинения Фетчера о России);

- (3) 1847–1855 — в публичном плане это лакуна — поскольку все основные деятели украинофильства оказываются лишены права печататься вследствие решения по делу КМТ, оставшиеся как местные, так и столичные деятели резко снижают активность — в силу как утраты лидеров, так и существенного ужесточения режима (после 1848 г.). Этого никак нельзя сказать о внутреннем развитии направления, хотя, в отличие от предшествующего периода, оно идет в это время по индивидуальным траекториям. Для Костомарова это время работы над его главным сочинением, «Богданом Хмельницким», и обретения украинской идентичности, для Кулиша — сближения со славянофилами, в первую очередь с аксаковским семейством — Константин Аксаков серьезно повлияет на его взгляды своей теорией «Земли и государства», под влиянием которой Кулиш в конце 1850-х сформулирует свою «хуторскую философию», перенеся тезис о «безгосударственности» на украинский народ;
- (4) 1856–1863 — удобно разделить на два подпериода
- а. 1856–1860 — время общественного оживления, «оттепели» (по выражению Ф. Тютчева), когда всякое новое, ранее запрещенное или придавленное направление общественной мысли и общественной деятельности встречается с одобрением или по крайней мере со сдержанной симпатией. Помимо прочего, это еще и время общественной неопределенности — прежние позиции утратили свою силу, новая расстановка сил пока не определена, направления и лагеря еще только начинают формироваться, соответственно, нет определенности в том, кто является союзником, кто — сторонником, а кто — противником. В 1856 г., например, Чернышевский

- в «Современнике» не только одобрительно высказывается о прошлом славянофильстве, но и приветствует и высказывает (с оговорками, правда) надежды в адрес только что появившегося славянофильского журнала «Русская беседа». Для самих московских славянофилов украинофильские деятели воспринимаются как союзники — более того, в самом «украинофильстве» еще нет определенности, потому симпатии славянофилов и их связи одновременно направлены и в адрес Галагана (1819–1888), Ригельмана (1817–1888), Кулиша и Шевченко — что тем более закономерно, что в это время сам Кулиш связан, например, со всеми перечисленными и одновременно получает поддержку со стороны Юзефовича (1802–1889). В общем имперском контексте это воспринимается скорее в логике оживления «местных сил», популярной в это время риторики «децентрализации» (так, «Старый режим и революция» Токвиля становится на ближайшие пару лет одним из самых популярных политических сочинений, конкуренцию с которым выдерживает разве что Маколей);
- b. 1861–1863 — если в период с 1856 по 1859 г. мысль о собственном журнале неоднократно возникала среди украинофилов и Кулиш пытался ее реализовать, сначала задумывая превратить «Записки о Южной России» (1856–1857) в периодическое издание, затем начав издавать альманах «Хата» (1860), то уже с 1859 г., благодаря средствам, полученным В. Белозерским, начинается подготовка к изданию журнала «Основа» (вопреки задуманному, в свет он начнет выходить не с 1860-го, а только с 1861 г.). Несмотря на совсем непродолжительное время своего существования, его роль в развитии

украинофильства трудно переоценить: прежде всего, это направление общественной мысли громко заявляет о себе и становится предметом широкой полемики. Одновременно журнал привлекает разнообразных сторонников и сочувствующих, создает и укрепляет связи, побуждает к новым опытам в разных жанрах украинской литературы — во многом благодаря ему молодые хлопоманы, народолюбцы, поклонники местной старины (В. Антонович, П. Ефименко, Ф. Рылский, П. Чубинский и др.) примыкают к существующему направлению, становятся вторым поколением украинофильства.

Вместе с тем этот период в особенности важен складыванием местных «Громад» — если питерская возникла еще на исходе 1850-х, став закономерной преемницей украинских кружков столицы, то следом образуются громады в Москве, Киеве, Харькове, Одессе, Полтаве и т. д. Степень их активности и устойчивости была различна, но значимо то, что возникла общая организационная форма и налажены связи между местными громадами — т. е. возникает сеть местных кружков, способных если не к активной деятельности, то к поддержанию связей между своими членами, формированию и, что особенно важно, поддержанию общих убеждений. В деятельности громад — в особенности Киевской — большую роль будет играть работа над словарем украинского языка, значимая не столько с точки зрения продуктивности, сколько задающая ритм и стабильность занятиям — происходит рутинизация социального взаимодействия и тем самым нормализация движения (что придает ему устойчивость — хотя внешне может восприниматься как упадок, отсутствие какой-либо заметной деятельности).

Подобная активизация помещает украинофильство в фокус внимания как общественности, так и властей, на смену прежней общей доброжелательности приходит разнообразие позиций — уже первые публикации «Основы» вызывают критические выступления со стороны славянофильского «Дня», одновременно более определенным становится отношение к украинофильству в малороссийском образованном обществе — заявленная, пусть и не вполне отчетливо, но понятно, программа направления одних привлекает, как мы отметили выше, для других — как, например, для Максимовича или Юзефовича, оказывается неприемлемой.

- (5) 1863 — начало 1870-х — в этот период власть берет своего рода паузу в отношении украинофильства — Валуевский циркуляр, обстоятельства появления которого подробно проанализированы Алексеем Миллером, представлял из себя распоряжение по цензуре, временно приостанавливающее печать книг и брошюр на украинском, предназначенных для распространения среди народа (что относилось и к различным просветительским изданиям, и к изданиям религиозным). С одной стороны, в отличие от ситуации предшествующих лет, логика национальных движений и исходящая от них опасность были вполне осознаны некоторой частью высшей бюрократии. С другой — вопрос о том, какую политику в их отношении избрать — и применительно к каждому конкретному случаю особо, — оставался под вопросом. Украинофильство было вновь изъято из публичной дискуссии — не только для Костомарова не было возможности продолжить полемику с «Московскими ведомостями» или «Днем», но и для последних оказалась закрыта эта проблематика. Репрессивные

меры в отношении деятелей украинофильского направления в провинции начались еще в 1862 г., однако связаны они были не собственно с украинофильством, а с борьбой с распространением радикальных воззрений. Младшее поколение, пришедшее в украинофильство, собственно и воспринимало чаще всего эти две идеологемы как разные аспекты одной и той же программы — движение к народу должно было осуществляться на языке этого народа, в связи с чем радикализм в малороссийских губерниях оказывался одновременно украинофильством — Костомаров со своей стороны, например, всячески старался разорвать эту связь, убеждая, в частности, Кониского избегать всего, имеющего политический оттенок, так как это способно дискредитировать украинофильство в глазах властей.

Пауза, наступившая в украинофильском движении в эти годы, связана с целым рядом обстоятельств, где внешнее (репрессивное) воздействие играет весьма ограниченную, на наш взгляд, роль. Прежде всего, необходимо напомнить, что собственно украинофильство состояло из очень небольшого числа деятелей — по мере того, как общественное оживление конца 1850-х — начала 1860-х спадало, это проявлялось в отходе от активной деятельности многих участников как на местах, так и в центре, потерей интереса к нему — в том числе и от отсутствия сколько-нибудь зримых, явных результатов, реализацией накопленного и отсутствием нового [ср., например, жалобы Костомарова 1870 г. на исчерпанность прежней литературной проблематики — то, что недавно казалось необозримым ресурсом, вроде народной словесности или сюжетов из народной жизни, предстало весьма ограниченным набором сюжетов], немногие ра-

нее привлекательные области деятельности — доступные для небольших кружков или отдельных энтузиастов, вроде народных школ и разнообразных просветительских начинаний, — отчасти оказались под запретом, отчасти реализовали имеющийся потенциал. Обращаясь к более раннему времени, напомним, что «Основа» прекратила свое существование все всяких направленных на нее репрессий уже в 1862 г., количество активных украиноязычных авторов, пишущих для образованной публики, оказалось также весьма невелико — даже с учетом очень скромной по числу аудитории, заинтересованной в этого рода текстах.

Другим фактором стало отвлечение сил, вызванное Польским восстанием 1863 г., — центральная администрация (если говорить точнее, то круг Н. А. Милютина), настороженно относясь к любой активности украинофилов в левобережной Украине, была готова активно привлекать их к деятельности, направленной против поляков, в первую очередь в Царстве Польском. Видные административные посты в Царстве получили Кулиш и Белозерский, Костомаров с 1867 г. работает над монографией «Последние годы Речи Посполитой» (в 1869 г. опубликованной в «Вестнике Европы», а в следующем году вышедшей отдельным изданием), создавая более чем идеологически приемлемый текст, одновременно рисующий анархию и угнетение народа в Речи Посполитой и обосновывающий историческую закономерность и справедливость ее гибели. [Биографически важно и то обстоятельство, что для многих из молодого поколения украинофилов это время создания или упрочения своей профессиональной карьеры, когда на другую активность у них и оставалось не так много сил и времени, и она была весьма сомнительна, как способная повредить первоочередным задачам — для Антоновича, Кистяковского

и Драгоманова это время получения магистерской степени и начала преподавания в Киевском университете, подготовки к профессуре.]

Впрочем, не стоит недооценивать и важность репрессий — в это время они уже не носили характера николаевского царствования, но оказывались вполне чувствительными для движения в условиях его весьма небольшой численности. Так, запрет на профессуру, наложенный после 1862 г. на Костомарова, был важным знаком и для других — в том числе и для молодых киевских украинофилов, выбравших академическую карьеру. По меньшей мере Антонович (1834–1908) после своего выступления в «Основе» в 1862 г. в дальнейшем всячески избегал всего, могущего поставить под сомнение его официальную лояльность, став примером осторожного и уклончивого поведения, Драгоманов вплоть до последнего года своей профессуры в Киеве аналогично демонстрирует политическую безусловную лояльность, не говоря уже о Кистяковском, даже наедине с собой в дневниковых записях дистанцирующегося от прошлых увлечений.

(6) 1870/71–1876 — это период второй активизации украинофильства, теперь уже в лице следующего поколения — Антоновича, Драгоманова (1841–1895), Житецкого (1836–1911) и др. Важно отметить, что и антиукраинофильская активность в большинстве случаев исходила аналогичным образом «с места»: противостоящие стороны обращались к центру, к различным силам и группам в нем, в поисках опоры, однако инициатива исходила и в том, и в другом случае от местных деятелей. В целом период с 1860-х и вплоть до конца 1870-х характерен тем, что украинофильство смогло обрести центр движения «на месте», в первую очередь в Киеве, но также и в других

городах Юга России — в 1874 г. на шесть месяцев оно даже обретает свое собственное периодическое издание, когда в руки киевской громады переходит редакция «Киевского Телеграфа», на некоторое время обретает легальный центр, в который фактически превращается Юго-Западное отделение Русского географического общества, основанное в 1873 г., из которого украинофилам удастся вытеснить оппонентов к 1874 г.

Как отмечал Миллер, правительственная политика и на этом этапе отличается отсутствием единства — фактически новый курс в отношении украинофильства определяется единоличным решением киевского генерал-губернатора А. М. Дондукова-Корсакова (1820–1893), пытающегося осуществить «гибкое» регулирование, ослабив существующие запреты, и достигнуть компромисса. Проблема, с которой сталкивается в данном случае Российская империя, — это отсутствие последовательной, сколько-нибудь отрефлексированной политики в отношении национальных движений — так, «украинский вопрос» попадает в фокус внимания ситуативно, в связи с каким-либо конкретным обострением ситуации или действиями влиятельных особ, способных донести свое видение до правительства и двора. Принятие решения оказывается единичным актом — иными словами, в данном случае затруднительно говорить о какой-либо последовательной политике и ее пересмотре, последнему подвергаются отдельные, конкретные меры, тогда как «пересмотреть» политику в целом затруднительно, поскольку она остается не сформулированной. Если конечная цель достаточно ясна — это формирование «большой русской нации», то средства, ведущие к ней, последовательность действий, направленных на

ее осуществление, и ресурсы, которыми располагает империя для ее осуществления, остаются не оторефлексированными.

В целом совершенно резонно осознав в начале 1860-х угрозу поднимающихся национальных движений, в первую очередь через массовое образование на местных языках (следует отметить, что в глазах министра народного просвещения еще в 1862–1863 гг. язык, на котором излагаются мнения, представлялся не имеющим значения — сферой своего наблюдения, предметом, имеющим значение, выступали только сами распространяемые убеждения, «язык» представал нейтральной, прозрачной средой), имперские власти ограничились почти исключительно запретами на заведение народных школ, на недопущение украинского языка в народное образование и т. д., запретом печати народных изданий на украинском и запретом проповеди на нем — распространение начального образования на русском языке сколько-нибудь деятельно началось уже с 1880-х гг., с развитием системы церковно-приходских школ. Репрессивная политика оказывалась принципиально недостаточной: во-первых, она оставляла неудовлетворенными реально существующие потребности, во-вторых, создавала и укрепляла обоснованное недовольство и со стороны образованных слоев общества, которым не дозволялась самодеятельность в сфере народного образования, в-третьих, не подкреплённая позитивными действиями, упускала время — позволяя альтернативным позициям укрепиться и набрать сторонников или укрепить их преданность себе.

Эмский указ 1876 г. — и в особенности отказ от его пересмотра в сколько-нибудь существенных частях в 1880–1882 гг. (были сняты только наиболее одиозные запреты) — привел к тому, что центр украинофильского, по-

степенно преобразующегося в украинское, движения перешел в Галицию, т. е. империя утратила возможность эффективного контроля над украинским национальным движением, одновременно радикализировав его. Итогом этого решения — внешне заморозившего «украинский вопрос» более чем на четверть века — стал уход движения из публичного пространства: лишенное возможности для сколько-нибудь значимых действий в пределах империи, оно одновременно выработало язык подчеркнутой лояльности, сосуществования с местной и центральной администрацией, и в то же время скрытых радикальных ожиданий — т. е. было выведено из пространства реальной политики, вынуждающей к компромиссам и переговорам. Поскольку основным ядром — как в плане финансовом, так и в плане кадровом — украинского национального движения оставалась Наднепрянская Украина, а возможности для деятельности в ее пределах оказывались крайне ограничены, то это естественным образом привело не только к радикализации, но и к перефокусировке движения на внешние силы — собственное бессилие и отсутствие надежд договориться с центральной администрацией формировало, естественным образом, надежду на некую внешнюю силу (так, например, в середине 1880-х были распространены слухи о Бисмарке и его планах создания «Киевского княжества» и т. п.).

- (7) Ситуация после 1876 г. демонстрирует исчерпанность собственно «укаинофильства»: в обстановке 1880–1882 г., на волне обсуждаемой в верхах возможности пересмотра Эмского указа и новой, связанной с либерализацией 1880 г., полемикой по украинскому вопросу в печати, Костомаров в последний раз выступает в защиту укаинофильства. В серии статей, опубли-

кованных в этот период, как декларативных, так и полемических, он, с одной стороны, повторяет аргументацию начала 1860-х гг., а с другой — добавляет к ней новые тезисы. Из числа последних обращает внимание стремление задействовать столь важный для имперской политики этого времени конфессиональный аспект: Костомаров обращает внимание на потребность «вторичной христианизации» в рамках меняющегося типа религиозности, перехода от прежней групповой к индивидуальной религиозной идентичности, интериоризации религиозных представлений — т. е. проблематике, не только активно обсуждающейся с 1860-х гг. в печати, но и выраженной назначением нового обер-прокурора Св. Синода, К. П. Победоносцева (1827–1907), — необходимость «возрождения» приходской жизни, активности священников, в том числе в деле проповеди. Все эти темы, особенно заметно обсуждаемые в печати в 1880 г., Костомаров увязывает с допущением украинского языка, поскольку проповедь должна, разумеется, вестись на том языке, который понятен прихожанам, церковь должна приблизиться к верующим, а в случае Украины это будет украинский крестьянин. Другим важным симптомом неблагополучия Костомаров называет распространение «штунды» — вновь объект деятельных забот центрального правительства (в 1886 г. в Киеве был даже созван съезд представителей духовенства южных и западных епархий для обсуждения вопросов борьбы со штундой, который первоначально рассматривали как зародыш возрождения соборной жизни церкви — и продолжением которого стали все-российские миссионерские съезды). Здесь Костомаров предлагает, помимо ранее названных средств укрепления церковной жизни, допущение украинского

перевода Библии* — отмечая, что фактически Библия на украинском и так распространяется в народе, но это перевод, выпущенный в Галиции: при распространении штундизма, при влечении к чтению Библии запреты оказываются не только не действенными, но и ведущими к тому, что контроль за обращающейся в народе литературой ускользает из рук власти — поскольку нет возможности эффективно запретить, то рациональным будет дозволить и тем самым взять под свой надзор печатание и распространение изданий, поскольку среди читающих нет влечения именно к нелегальным изданиям, они обращаются к ним за неимением других — дозволение обращаться разрешенному тексту перевода вытеснит из обращения неразрешенный.

Для функционирования украинского языка Костомаров предлагает два регистра: во-первых, как язык лите-

* По поводу этого предложения М. П. Драгоманов иронизировал в «Вольном Слове» (1882, № 26): «Некоторые усердные украинофилы доходили даже до обещаний уничтожить столь грозную для православия на Украине штунду посредством украинского перевода Библии. Были и такие, которые после всех похвал переводу гг. Кулиша и Пулюя все-таки допускали возможность, что Синоду этот перевод не понравится, и на этот случай или рекомендовали перевод г. Костомарова, или же взывали к самому Синоду, чтоб он сам от себя выработал вполне православный перевод Библии на украинский язык, лишь бы только он не лишил православный народ на Украине священного писания на его родном языке. Святейший Синод, который едва собрался на издание (непопулярное) Библии на великорусском языке и который в дешевом издании распространяет — и то с сравнительно недавнего времени — Новый Завет на неимоверном языке, который он называет „русским наречием“, конечно, не внял украинофильским мольбам, тем более, что члены его, очевидно знающие всеобщую историю периода реформации получше многих украинофильских публицистов и даже ученых, не могли соблазниться и обещанием уничтожить штунду и шалопутство посредством украинского перевода Библии».

ратуры «о народе», ограниченный своими сюжетами из простонародного быта и реалий; во-вторых, как язык начального обучения, одновременно с «общерусским», как способ повышения эффективности и привлекательности обучения грамоте — и вхождения в общерусское культурное пространство (поскольку, как отмечает Костомаров, для украинских крестьянских учеников церковнославянский язык оказывается понятнее, привычнее для объяснения, чем «общерусский», и потому начинать обучение грамоте сразу же с чужого языка — значит ставить на пути распространения первоначальной образованности существенную преграду).

Все это вызовет со стороны Драгоманова, имеющего возможность высказывать свое мнение в бесцензурной печати, критику — как переход на позиции языка «для домашнего употребления», позицию, свойственную московским славянофилам 1860-х гг. (стоит отметить, что здесь Драгоманов ошибается, Костомаров не «отходит» к этой позиции в конце жизни — уже в 1860-е он придерживается тех же взглядов, с начала 1860-х более чем скептически смотрящий на перспективы развития украинского в литературный язык). Позиция Костомарова представляет из себя наиболее умеренный вариант украинофильской программы, — однако и в таком виде, в любой из своих частей, она оказывается неприемлема для правительства и для русской националистической публицистики, — тем самым демонстрируя бесплодность поиска компромисса, поскольку и минимальные из возможных в рамках украинского национального движения предложения отвергаются, а сам их автор вновь навлекает на себя подозрения в сепаратизме. Иными словами, степень умеренности не дает выигрыша — противоположная сторона отказывается рассматривать оттенки, утверждая бескомпромиссно собственное видение, но при этом не

располагая достаточными ресурсами для проведения позитивной политики: так, сеть школ с обучением на русском языке на Украине начнет сколько-нибудь существенно развиваться с конца 1880-х гг. — и так и останется в весьма неудовлетворительном состоянии вплоть до 1905 г.

Если ранее речь шла о репрессивной политике, то одновременно необходимо отметить ограниченность запретительных мер — так, в Киеве силами местной громады издается журнал «Киевская старина», который получает санкцию Министерства народного просвещения и рекомендован к выписыванию средними учебными заведениями (по докладу А. Ф. Бычкова, при содействии Н. И. Костомарова), с 1897 г. та же «Киевская старина» (через содействие сначала генерал-губернатора гр. А. П. Игнатьева (1842–1906), а затем сменившего его М. И. Драгомирова (1830–1905)) получает право печатать беллетристические произведения на украинском языке (которые оплачиваются Е. Чикаленко). В более раннее время правительственную политику в некоторых аспектах трудно назвать иначе, как прямо провоцирующей — так, поскольку художественные произведения на украинском не допускались, но дозволялись этнографические публикации и приведение соответствующих цитат, то в произведениях, написанных по-русски, речь персонажей допускалась по-украински — как, например, в «Черниговке» Костомарова [впервые была опубликована в «Историческом вестнике», 1881; в отдельном издании (СПб., 1881), как указывалось, «все действующие лица выводятся с особенностями речи своего времени, по первоначальной редакции автора»] или в повести И. С. Левицкого (1838–1918) «Старосветские батюшки и матушки», опубликованной в той же «Киевской старине». Аналогичным образом украинские громады, офи-

циально не разрешенные, в то же время практически открыто действовали в большинстве городов — формально являясь дружескими встречами, соблюдая приличия полицейской законности, многое из того, что официально являлось воспрещенным, одновременно молчаливо допускалось, не было сколько-нибудь существенных препятствий ввозу галицийских изданий, если они не были радикального содержания. Так что уместно, на наш взгляд, сказать: правительство само подпитывало оппозиционные настроения даже среди самых умеренных украинофилов ограниченными, а иногда скорее символическими репрессиями, к тому же носившими избирательный характер, т. е. становившимися образцовыми воплощениями произвола — достаточными для того, чтобы вызывать крайнее недовольство, но совершенно недостаточными для того, чтобы подавить или вполне запугать его выразителей.

Правительственная политика оказывалась недостаточной для того, чтобы блокировать распространение украинских настроений среди интеллигенции, которая активно увеличивается в эти десятилетия, например, за счет растущего числа сельских учителей и т. д., через посредство которых украинофильские и украинские идеи проникают в народ. Тем не менее не следует преувеличивать силу украинского национального движения в разных его вариантах — от украинофильства до украинства. Несмотря на значительный рост движения в Наднепрянской Украине в 1905 г., ситуация уже к 1907 г. продемонстрировала существенную ограниченность мобилизационных возможностей движения — более того, в условиях допущения существенной свободы украинства, снятия ограничений, наложенных Эмским указом 1876 г., оказалось, что после революционного всплеска

1905–1906 гг. оно имеет небольшие возможности для распространения.

В целом фактическое прекращение репрессий собственно против «украинофильства» в 1905 г. (которое теперь стало синонимом «культурничества») и допущения умеренных форм украинского национального движения в публичное пространство — последнее в свою очередь стало внутренне изменяться, поскольку открылась возможность для компромиссных форм взаимодействия. Примечательно, что именно в это время закладываются основания для последующей партии «хлеборобов» — т. е. попытки создать консервативное украинское политическое движение. Оказывается востребованной политическое наследие М. П. Драгоманова, выступающего одновременно одной из основных фигур «общерусского» либерального, конституционалистского движения и в то же время деятелем украинского социализма.

* * *

Обрисовав предельно кратко и схематично общий ход истории украинофильства, как он нам представляется, теперь необходимо остановиться на некоторых ключевых аспектах украинофильства, которые одновременно позволяют показать, каким образом осуществлялся переход, по словам И. Франко (1856–1916), к «украинству», а именно на построении схемы национального прошлого, возможностях и принципиальных ограничениях политической деятельности и на проблеме сепаратизма — обсуждению возможности образования самостоятельного национального государства.

Каждый национальный проект предполагает создание собственной исторической схемы — разумеется, обычно их несколько, конкурирующих между собой (и не

вытесняющих одна другую без остатка). Соответственно, одними из ключевых фигур в истории нациестроительства и национальными лидерами оказываются историки — либо первые становятся вторыми. Украинский случай в этом отношении особенно показателен — здесь практически все основные дебаты происходят на почве истории, а лидеры украинофильства в подавляющем большинстве своем являются более или менее значительными историками.

Следуя логике Мирослава Хроха, история отступает на второй план уже на третьем этапе национальных движений — когда они становятся массовыми и на смену интеллектуалам, обращающимся к сравнительно небольшому кругу таких же, как они сами (а «народ» выступает для них объектом изучения, любования, художественного описания), приходят политики, обращающиеся к массам — теперь уже опирающиеся на национальные мифы и сформированное представление о прошлом, но работающие с актуальной повесткой как таковой.

Поскольку история украинофильства целиком относится ко второй стадии развития национальных движений по схеме Хроха — собственно, концом его станет начало перехода к третьей, что осуществится сначала в Галиции, где будут существовать возможности для политического движения, апеллирующего к массам, — то анализ этой стадии развития украинского национализма неизбежно должен быть обращен к рассмотрению альтернативных, синхронных или сменяющих друг друга схем национальной истории и вписывания последней в мировую историю.

Примечательно, что вторая проблема оказывается в центре внимания на ранних стадиях развития украинофильства (в частности, попыткой вписать Украину в мировую историю в качестве центрального персонажа являет-

ся «Книга бытия украинского народа» Костомарова). Уже с 1850-х подобного рода сюжеты совершенно отходят на задний план, и ранее будучи достаточно второстепенными, — исторический горизонт оказывается сужен до ближайших соседей Украины, ее исторических союзников/противников, европейская/всемирная ее роль преимущественно кратко оценивается как барьера на пути «азиатских полчищ», защитницы (европейской) цивилизации/культуры — концепция, которую в прошлом веке во многом потеснит концепция фронта, артикулирующая двойственность — не только барьера, но и ворот, пространства коммуникации между разными культурными, религиозными, социальными порядками.

Украинофильство оказывается практически лишено историософии — столь обильно представленной в польском или русском, не говоря уже о немецком, национальных движениях. Это связано с трудностью включения в историософскую рамку «безгосударственного» или, в других вариантах, практически лишённого государственности народа — поскольку обычными субъектами мировой истории являются в XIX в. государства, т. е. политические формы народов или иные крупные формы политических объединений. Характеристика же «народа», изъятого из государственности, помещенного в рамку «повседневности», изучения не политической, а социально-экономической и культурной истории, не дает достаточных условий для образования больших историософских нарративов — является скорее «бегством из истории», пользуясь выражением М. Элиаде, чем включением в нее.

Эта ситуация составляет внутреннее напряжение различных вариантов украинского национального нарратива — поскольку последний призван к прямо противоположному, вхождению/введению нового исторического

субъекта (обычно через утверждение его «уже наличия»: история и призвана показать наличие искомого субъекта, нации в прошлом). Наиболее интересная попытка преодолеть этого рода затруднение будет предпринята уже в конце 1910-х — начале 1920-х Вацлавом Липинским (1882–1931). Не избавленный от обычных попыток утвердить в прошлом искомый им вариант будущего (с чем связаны его изыскания о польской шляхте в восстании Богдана Хмельницкого и о гетманстве Выговского), он, однако, не связывает свое видение этим прошлым — его версия украинского национализма оказывается принципиально свободна от «боев за историю», поскольку предлагает видение Украины как «новой нации», через акт утверждения, по аналогии с США. То есть «национальное» Липинский пытается утвердить непосредственно через политическое, а не обращая последнее в историческое и затем предъявляя как уже наличное — Украина в этой логике не является нацией, но способна ею стать, утвердив новый политический принцип, позволяющий включиться, стать гражданами всем тем, кто ее сейчас населяет, и являющийся достаточно привлекательным, чтобы побудить их к этому.

Для предшествующих деятелей украинского национального движения подобный ход рассуждений был невозможен по объективным обстоятельствам. Если Липинский конструирует свою версию национального проекта в условиях распада Российской империи и множества самых разнообразных попыток создания новых политических образований, на разных принципах и с разными ресурсами конкурирующих между собой, с общим запросом на политический территориальный порядок — какую-то форму государства, которая позволит включиться в нее большинству обывателей и, что еще важнее, при-

нять эту форму в качестве своей собственной, т. е. стать политическим сообществом, принадлежность к которому и существование которого они готовы отстаивать, то для деятелей предшествующих периодов вопрос стоял в возможности вычленения, определения, территориализации нации. Не совокупность людей, проживающих в определенных границах, надлежало превратить в сообщество граждан, но определить, кто принадлежит/должен принадлежать к нации и каковы должны быть границы этого сообщества, — иными словами, нация должна была создать для себя государство, а не государство обрести своих граждан, территориальная политическая форма должна была стать итогом, а не началом пути.

Следует отметить, что именно то, что, с одной стороны, представляло основные проблемы для украинского национального движения — отсутствие в историческом прошлом сколько-нибудь прочных государственных традиций, неполнота социального состава, когда в качестве «украинца» мог быть идентифицировать практически только «крестьянин», а господствующие и образованные слои общества идентифицировали себя с иными сообществами, а в силу этого — ограниченность ресурсов высокой культуры не только в настоящем, но и в прошлом, к которым можно было апеллировать как к национальным образцам — это же, с другой стороны, оказывалось в контексте Российской империи 1860-х — 1910-х гг. и преимуществом. Если угодно, два процесса здесь наложились друг на друга — «этнография», «народописание» как запрос «сделать видимым» «народ», который является объектом и субъектом, к которому отсылает националистическая и демократическая повестка — и вместе с тем собственно националистический запрос со стороны украинофилов, которые могли выстроить ли-

нию преемственности через «народ», который оказывался субъектом истории, поскольку выстроить аналогичную к козацкой старшине оказывалось бесперспективным — подобная историческая линия уводила в никуда, так как, независимо от прошлого, к 1840-м — 1860-м она была вполне интегрирована в общеимперский порядок и не обладала достаточным оппозиционным по отношению к последнему потенциалом (а помимо прочего, еще и оказывалась социально ослабевающей группой — ее позиции, как позиции поместного дворянства, ухудшались на всем протяжении XIX в.: речь идет именно о положении и самосознании поместного дворянства как сословия — индивидуально юридически принадлежащие к нему лица в большинстве своем могли вполне успешно встраиваться в новые реалии, но уже как «землевладельцы», «чиновники» и т. д.).

Это специфическое положение обеспечило украинофильству доступ на российский интеллектуальный рынок — то, что в локальном контексте прочитывалось как «национальное», в имперском представало как «социальное»: история козацкого восстания могла прочитываться, например, в первую очередь как история о козацком прошлом, о борьбе за свободу Украины от Польши или как история о народном восстании, борьбе народа против угнетателей. Это же, независимо от первоначальных намерений и субъективных убеждений украинофилов*, обеспечивало тяготение украинофильства к «левой» политической повестке.

* Общеизвестно, что собственные взгляды Костомарова были достаточно консервативны, еще более далеки от радикализма были Кулиш и Белозерский — однако их тексты прочитывались сквозь призму преобладающих настроений: так, «Бунт Стеньки Разина» оказался самой популярной из работ Костомарова отнюдь не только по причинам ее исторических и литературных достоинств.

Фактически, украинофильская историография подробно разрабатывала две темы, обычно увязывая их между собой:

- (1) историю козачества, где зачастую предсказуемым образом на первый план выходили фигуры гетманов, атаманов и полковников — продолжая традиции козацкого летописания XVIII в. и позволяя апроприировать имеющийся пантеон, модернизировав трактовки и увязав со второй темой —
- (2) социальной (и, в меньшей степени, культурной) историей — в первую очередь историей крестьянства, но также мещанства и историей церкви.

Наиболее традиционную трактовку в рамках украинофильских историографических опытов дал Костомаров — выступив полноправным наследником козацкой историографии и народного творчества, которое он активно привлекал в качестве источников. Как и в козацкой историографии, фактически история Украины окazyвалась хронологически «неглубокой», восходящей к XVI в. — в этом отношении показательны как разрозненные упоминания самого Костомарова, так и первая большая историческая работа В. Б. Антоновича, увязывавших козачество с вечевым началом.

Работы Костомарова в итоге не предлагают единой схемы украинской истории, распадаясь на две части, каждая из которых имеет свою собственную логику и собственную генеалогию. Первую часть образуют работы, посвященные истории козачества, — если в двух первых изданиях «Богдана Хмельницкого» (1857) Костомаров начинает непосредственно с описания биографии своего героя, то в 3-м издании, вышедшем в 1870 г., он предпосылает ему объемный очерк предшествующей истории козачества с самого зарождения, вместе с другими своими работами по этой тематике выстраивая связное из-

ложение истории козачества, отождествляемой в данном случае с историей Украины/Малороссии/Южной Руси, с XVI в. до конца гетманства Мазепы.

Неудовлетворительность этой «короткой» схемы украинской истории заключалась не столько в ее относительной непродолжительности, сколько в том, что она не позволяла концептуально выстроить единую историю Украины в тех пределах, в которых она мыслилась как украинофилами, так и их предшественниками. Если обосновать включение Слобожанщины и некоторых других регионов в состав единого исторического объекта не представлялось затруднительным, то совершенно выпадала история Галицкой Руси. Еще П. А. Лукашевич (ок. 1809–1887), мысливший уже в пределах этих географических границ, в своем сборнике «Малорусских и Червонорусских народных дум и песен» (1836) обосновывал (со свойственным ему некоторым косноязычием) единство через общность чувств, через принятие и сохранение в Червонной Руси исторических преданий Малороссии:

«Червонорусцы не взирая на бесконечное свое иноплеменное подданство, которое переносят с терпением, — сохраняют, по сию пору, привязанность к своему происхождению и имени, а следовательно, и к России; Украина, Малороссия есть для их сердца обетованная земля, куда стремятся все их помыслы и думы. С какою заботливостью Галичанин расспрашивает заезжего из России гостя о судьбе своих братьев Украинцев; он с радостью разделяет с ним свою убогую трапезу, чтобы узнать, что нового, об Украинских Козаках! Кто бы поверил, что Галицкий пастух знает гораздо более дум о героях Украйны и ее историю, нежели последний Малороссийский Козак. Он гордится подвигами Малороссиян, как своими собственными. Он радуется их счастью и успехам, и тужит в прекрасных своих песнях „о

пригоде Козацькой“. Прочитаете со вниманием Галицкие песни, в них — если молодой Червонорусец хочет понравиться своим красавицам, то говорит, что он Козак из Украины, и Козак „с роду“; в одной песне мать описывает своей дочери богатства Украины и ее Козаков — врагов Поляков, журит ее, чтобы она не любила „ляхов“, а Козаков; в другой девушка умирает за любимым ее „Козаченьком“; в третьей жена грозит своему мужу, что она оставит его и пойдет „на Украину с детьми на свободу“; в четвертой описываются похороны Козака и пр. и пр. Но важнейшие из песен Червонорусцов, — это есть, без сомнения, Малороссийские думы...»

Необходимо было включить Галицкую Русь и Буковину в единую историческую схему, для чего Костомаров использовал несколько решений, в каждом случае опираясь на уже существующие подходы:

— во-первых, вслед, например, за Максимовичем он использовал концепт «Русского мира», тем более удобный, что позволял отделить историю «народа» от истории «государства» — в дальнейшем он будет активно использоваться Кулишем в «Истории воссоединения Руси» (1874);

— во-вторых, поверх концепта «Русского мира», связанного с понятием «русского народа», вводился концепт «народностей» — в работах 1861 г. Костомаров, перечисляя шесть народностей, которые он находит в Древней Руси, в качестве шестой вводит единую «южно-русскую». Тем самым закладываются основания для последующего удревнения украинской истории — она оказывается последовательной историей «южно-русской народности» от времен догосударственных, когда южные племена, при всех различиях между собой, на взгляд Костомарова, обладали большей схожестью между собой,

чем со всеми остальными, вплоть до времен современных, когда «южнорусс» противопоставляется «великоруссу» в рамках единого «русского народа».

Тем не менее связной концепции Костомаров не предложил — история домонгольская Южной Руси оказывается одновременно частью общей истории удельно-вечевого периода (Костомаров подразделяет русскую историю на два периода: удельно-вечевой и единодержавия), когда господствуют начала «вечевые», начала «земли», «федеративные», в равной степени присущие всем частям Руси. Специфика последующей истории оказывается скорее в том, что Южная Русь дольше удерживает эти начала — и, как уже отмечалось выше, Костомаров вместе с Антоновичем пытаются связать козачество с вечевым укладом, т. е. задействуется топос 1-й половины XIX в. о Малороссии как о стране древностей, прошедшего, своего рода «русской Греции» — где можно еще (или дольше, чем в остальных частях Руси можно было) наблюдать остатки старины. Козачество в этой схеме оказывается связкой — носителем «вечевых» начал, соединяющей историю IX–XIII вв. с историей XVI в. и последующих, т. е. сохраняя единство сюжета. Однако вновь возникала проблема Галицкой Руси, поскольку там выстроить подобную преемственность не получалось — тем самым сохранялась потребность в концепте «Русского мира». Помимо этого, натянутость схемы представлялась достаточно ясной для большинства критиков — примечательно, что Антонович после 1863 г. в своих научных трудах к ней не возвращался, хотя в лекциях об истории козачества, прочитанных для украинофильского кружка в 1897 г., вновь упоминает о «вечевом начале».

Впрочем, именно Антонович проложил путь к новой схеме украинской истории, ставшей в дальнейшем ос-

новополагающей. Еще в 1850-е гг. между Максимовичем (1804–1873) и Погодиным шел спор о том, кто были жители Киевской земли до татарского нашествия и было ли после него запустение Киевщины — согласно Погодину, первоначальное население говорило на языке, родственном великорусскому, а последующая, в XIV в., колонизация Киевщины осуществлялась с запада, из Галицко-Волинских земель. Напротив, Максимович отстаивал континуитет в истории Киевщины — и этот тезис вместе с детальной разработкой при помощи многочисленных учеников истории южных земель стал одним из основных предметов научных усилий Антоновича. Если учитель избегал широких обобщений, то его ученик, которого он вместо себя предложил на новооснованную кафедру украинской истории в Львовском университете, М. С. Грушевский (1866–1934), к началу XX в. предложил новую концепцию, противопоставленную русской: сжатое и яркое ее изложение он дал в известной статье 1903 г. «Обычная схема „русской“ истории и вопрос рационального упорядочения истории восточного славянства» — как отмечает С. Плохий, фактически Грушевский предложил гранд-нарратив, схожий с концепцией русской истории, сформированной трудами С. М. Соловьева (1820–1879) и его продолжателей, «перевернув» привычное соотношение. Если предшествующей проблемой украинского национального исторического нарратива была его относительная хронологическая неглубина и проблема обоснования исторического единства земель, мыслимых как Украина, то Грушевский, включив в состав истории «Украины-Руси» Киевскую Русь, напротив, хронологически укоротил историю «России/Великороссии», начиная с момента колонизации земель будущих Ростовского, Муромского и Суздальского княжеств — теперь уже история «Великорос-

сии» в определенный момент «отпочковывается» от единого древа истории восточных славян, оказывается новым историческим образованием — в том числе и территориально, поскольку ее ядром становятся земли колонизируемые. Историческая древность и постоянность этнокультурного состава оказываются принадлежностью истории Украины, как и собственно имя «Руси». Сочетание, с одной стороны, фундаментальной исторической проработки, а с другой — удовлетворения национальному запросу обеспечило схеме Грушевского быстрое принятие и долговременное влияние: Украина, которая мыслилась как национальная и территориальная общность, в том же своем составе оказывалась обретенной в прошлом — тем самым прошлое подтверждало настоящее и давало веру в будущее, а настоящее придавало дополнительную убедительность интерпретации прошлого.

* * *

Отмеченная выше «левизна» украинофильства и преобладание социалистических настроений в украинском движении, в частности почти исключительно социалистический характер украинских партий в Наднепрямской Украине, были заложены базовыми условиями, из которых исходило украинское национальное движение (показательно, что все попытки образования украинских центристских и правых партий оказались малорезультативны — если не считать временного успеха «хлеборобов», но здесь решающим обстоятельством была внешняя, германская и отчасти австро-венгерская поддержка в 1918 г. — вплоть до 1920-х гг., когда наступает время «новых правых», «правого радикализма», сочетающего правые и левые лозунги, как, например, в итальянском

фашизме и других аналогичных явлениях межвоенного двадцатилетия).

На Украине, как в большинстве стран Восточной Европы, потенциальная «национальная» структура во многом совпадала с сословной, постепенно преобразующейся в классовую, — этнизация (а та в свою очередь оказывалась в связке с конфессиональной принадлежностью) сословий создавала ситуацию, в которой большая часть землевладельцев-дворян была либо поляками, либо русскими, население городов и местечек состояло во многом из евреев, к которым затем — в качестве чиновников, купцов и мещан (в дальнейшем, по мере промышленного развития, — рабочих) активно добавлялись русские, причем как за счет миграции из великорусских губерний, так и за счет смены идентичности — переселяющиеся в города крестьяне, получающие ремесленное обучение, поступающие в мастерские или на фабрики, расценивали себя зачастую как русских, аналогичным образом идентификация и самоидентификация помещиков была во многом независима от происхождения (в связи с чем среди сторонников как русского, так и украинского национализмов XIX в. был популярен термин «ополяченная шляхта»). Примечательно, как И. Франко описывает переход В. Б. Антоновича в «украинство»:

«Вл. Антонович, поляк по рождению, который позднее принял православие [...]».

Соответственно, когда украинское национальное движение стало выходить за пределы небольших, связанных между собой групп националистически настроенной интеллигенции и пытаться найти опору в каких-либо социальных слоях и группах, то для него не было альтер-

нативы, кроме украинского крестьянства, — а так как для последнего основным вопросом, способным мобилизовать, был аграрный, то социалистическая ориентация украинского национализма оказывалась в этот период предопределенной.

Особенность украинской ситуации, дававшей еще один аргумент в пользу социалистической ориентации, заключалась в невозможности увязать конфессиональную принадлежность с национальной. Если славянофильский национальный проект по существу представлял из себя конвертацию конфессионального в национальное — и эта логика выходила далеко за пределы славянофильства, в частности, на ней основывалась поддержка правительства просветительских усилий Ильминского среди татар-кряшенов, православие здесь если не уравнивалось, то предельно сближалось с «русским» (и, напротив, никакое овладение русской культурой без принятия православия не позволяло считать индивида «русским»), то для украинофильства подобная логика была невозможна в силу по меньшей мере двух причин: во-первых, тогда, проводя грань между поляками и украинцами, она одновременно ликвидировала границу между малороссами и великороссами, и, во-вторых, вся Галиция, Буковина и Холмщина оказывались за пределами образуемого при подобном критерии сообщества, как принадлежащего к греко-униатскому вероисповеданию.

Таким образом, украинский национальный проект мог быть — в рамках «большой Украины» — только внеерелигиозным (и, кстати, делал неприемлемой существенную часть исторического нарратива Костомарова, интерпретировавшего борьбу козаков с Польшей в рамках как официальной доктрины, так и традиций козацкой историографии как борьбу за православие против латинства

и унии). Одновременно подобная интерпретация делала куда более значимым культурный и языковой вопрос — если с точки зрения конвертации конфессионального в национальный вопрос строгой унификации языка, «языкового пуризма», сохранения и культивирования национальных традиций стоял не столь остро, допуская (по крайней мере, потенциально) более или менее широкое разнообразие, то в ситуации, когда именно культурные факторы становились основополагающими, язык выходил на передний план — равно как и верность каким-либо воспринимаемым как знаковые чертам поведения, костюма, прически и т. д.

Другим вариантом была биологизация различий — однако, хотя отчасти Н. И. Костомаров, говоривший, например, в 1861 г. в «Двух русских народностях» о природных отличиях «южноруссов» от «великоруссов», а в еще большей степени, например, В. Б. Антонович, читавший университетский курс по антропологии и выстраивавший различия антропологических, психологических и культурных характеристик поляков, украинцев и великороссов, отдали дань подобному биологическому укоренению национальных различий, в украинской ситуации, при отсутствии сколько-нибудь значительных, общих и легко фиксируемых биологических признаков, на которые могло бы опереться такого рода размежевание, оно оказывалось малоэффективным как критерий идентификации, хотя время от времени использовалось как критерий стигматизации*.

* Так, если в 1846 г. Кулиш, в ответ на реплику Костомарова, настаивал, что тот принадлежит к малороссийскому племени, поскольку матушка его — украинка, то в 1874 г. он же (теперь уже в силу, видимо, русского происхождения отца) ставил под сомнение право Костомарова «как иноплеменику» «писать историю чужого народа».

Языковой критерий без противоречий входил в логику социалистических течений последней трети XIX в. — так, Драгоманов отстаивал права на культурную автономию, образование на национальном языке и т. д. на том основании, что на нем говорит простой народ — и, следовательно, использовать его язык необходимо и потому, что это дает возможность обратиться к нему, донести до него свою политическую и социальную программу, и потому, что облегчает народу получение образования. С этой точки зрения Драгоманов последовательно отвергал наименование себя националистом, поскольку настаивал, что язык в данном случае — не говоря уже о народной культуре и т. п. — не самоцель, а инструмент, национальная принадлежность — не врожденное качество, а культурное, а сама нация является историческим феноменом. Свои цели он определял как универсальные, космополитичные — но именно для того, чтобы иметь возможность реализовать их в определенном месте и в определенное время, они должны быть выражены на языке и в формах этого места и времени: собственно, именно у Драгоманова впервые появляется затем благодаря И. В. Сталину ставшая канонической формулировка — национального по форме и социалистического по содержанию. Чтобы социалистическая программа могла прийти к украинскому крестьянину, она должна быть выражена на понятном ему языке — национальные и социальные требования в условиях Восточной Европы оказывались тесно переплетены в силу отмеченных выше особенностей социальной структуры. Эта двойственность проявлялась и в аргументации Драгоманова — обращаясь теперь уже к украинофилам, он убеждал их в необходимости социальной программы, социального действия, поскольку чисто национальные требования (т. н. «культурничество») не способны получить сколько-

нибудь значительной поддержки и, следовательно, шансов обрести политическую силу — чтобы достигнуть первых, украинским националистам надлежит обратиться ко вторым, равно как и социалистам, желающим действовать на Украине, надлежит поступить ровно наоборот: продуктивное, политически осязаемое движение оказывается возможным как национальное и социалистическое одновременно.

История событий 1917–1921 гг. еще лучше, чем опыт Галиции предшествующих десятилетий, продемонстрировали принципиальную правоту Драгоманова — до тех пор, пока украинская нация оставалась нацией, не обладающей полной социальной структурой, национальное движение не имело шансов стать значительной политической силой, не опираясь на крестьянство — поскольку для других социальных слоев, за исключением интеллигенции, его лозунги не имели привлекательной силы.

Отметим, что впервые — правда, на тот момент не вызвав сиюминутно глубокой рефлексии, — эта ситуация проявилась в полемике украинофильского журнала «Основа» в 1861 г. с еврейской одесской газетой «Слово»: последняя, выступая за ассимиляцию, понимала под этим ассимиляцию в состав общерусской культуры, тогда как «Основа», в лице в первую очередь Костомарова, мысля в логике связки национального и территориального, соответственно, считала возможным требовать от одесских евреев ассимиляции в состав украинской культуры.

Если это объясняет, почему украинофильство и украинство в целом было непривлекательно, например, для евреев — оно не давало им выхода в большое социально-культурное пространство, а, напротив, замыкало в еще более узкую, с очень ограниченным социальным репер-

туаром, ситуацию, то, с другой стороны, это же объясняет привлекательность украинского национализма для выходцев из других этнических групп. Напомним о том, что целый ряд лидеров украинофильства и последующего украинства по происхождению принадлежали к другим сообществам (что типично для большинства восточноевропейских национальных движений). Так, Н. И. Костомаров, к концу 1850-х гг., по словам А. Н. Пыпина (1833–1904) сделавшись «натурализованным в малороссы», еще в период Кирилло-Мефодиевского общества определял себя как великоросса, «обращение» в украинство Ф. Рильского и В. Антоновича сделалось предметом горячей публичной полемики на страницах «Основы» в 1861–1862 гг., где Антоновичу пришлось в «Моей исповеди» отвечать на упреки известного польского публициста Падалицы в «ренегатстве»; Драгоманову стоило большого труда и целенаправленных усилий приучить себя говорить и писать по-украински, причем и у позднейших публицистов (несмотря на то, что он внес один из крупнейших вкладов в формирование политической и научной украинской прозы) находились поводы упрекнуть его в «русицизмах»; Грушевский уже в 17 лет начинает изучать язык, первоначально по книгам, живя в Тифлисе, где его отец преподает в гимназии, — и определяет себя как украинца; история семейства Шульгиных, представители двух ветвей которой сделались одним из известнейшим русским националистом (Василий Витальевич, 1878–1976), а другой, пришедшийся первому племянником, соответственно, украинским (Александр Яковлевич, 1889–1960) — отнюдь не исключительна.

Привлекательность украинского национализма с точки зрения российской интеллигенции заключалась в том, что, будучи социалистическим и народническим, т. е. разделяя представления и стремления, общие для большей

части интеллигенции, он был избавлен от внутреннего конфликта, в котором оказывался русский социалист или радикал. Протестуя против существующего порядка и отстаивая, как он, по крайней мере, считал, благо народа, он в то же время оказывался вынужден признать, что существующий строй является производным от исторической жизни его народа, созданным им — он сам, выступающий против, является частью этой культуры и этого общества, вызывающего его отторжение. Выбор украинства оказывался избавляющим от подобного противоречия — теперь эксплуатирующие классы, деспотический режим и вызывающая скорбь история оказывались чужим, внешним — угнетатель и угнетаемый, деспотизм и его жертвы противопоставлялись друг другу, он мог защищать вторых и принадлежать к ним без всякой двойственности, с чувством морального алиби и совершенной моральной правоты.

* * *

Обвинение в сепаратизме в адрес украинофилов было впервые гласно и громко высказано М. Н. Катковым (1817–1887) летом 1863 г., увязавшим украинофилов с «польской интригой». Впрочем, не говоря уже о деле КМТ, на аналогичные упреки Костомарову уже приходилось отвечать, например, в частном порядке в 1861 г. — когда их высказывала весьма влиятельная при дворе фрейлина гр. А. Д. Блудова (1813–1891), дочь председателя Государственного Совета гр. Д. Н. Блудова (1875–1864). В данной ситуации обе стороны имели собственную правоту — Катков и те, кто разделял его воззрения, указывали на объективную логику украинофильства как национального движения — оно находилось в принципиальном противоречии с проектом строительства «боль-

шой русской нации», а складывание таковой мыслилось как необходимость в процессе «национализации» Российской империи, образовании национального ядра. Укратиофильство представлялось одновременно и угрозой русскому национальному и имперскому проектам, которые не находились в конфронтации, а фактически были двумя динамическими частями единого процесса трансформации империи. Логика национального движения в пределе вела к обретению национальной независимости, образованию национального государства, т. е. представляла угрозу одновременно и целостности империи, и попытку выделить из «русского национального тела» одну из его частей.

Вместе с тем и большинство укратиофилов с той или иной степенью добросовестности отвергали подобные упреки — если не говорить о политических мечтаниях и свободных фантазиях в рамках серьезного обсуждения, не говоря уже о действиях в этом направлении, никто из укратиофилов вопрос о национальной независимости не ставил — хотя бы в силу отсутствия какой бы то ни было серьезной поддержки на местах, почти исключительно интеллектуальном характере движения (собственно, последнее активно и стимулировало вольные фантазии — и одновременно не давало никаких возможностей выхода их в реальность).

В политическом плане союз с Польшей был гораздо менее желателен в укратиофильской оптике, чем достижение какого-либо компромисса с Москвой. Во-первых, польское национальное движение не менее жестко и прямо, как общерусское, конкурировало с украинским за одни и те же территории. Во-вторых, «Польша» как союзник была не только проблематична (в силу тесной увязанности польского национализма с программой возрождения Речи Посполитой), но и слаба — фактически

речь шла о достижении согласия с польскими политическими группами в России, самими не имеющими значительного влияния, и с польскими партиями, контролирующими Галицию, — даже в лучшем случае подобное соглашение давало результат, весьма далекий от любых украинофильских (как позднее и украинских стремлений). В результате можно видеть, прежде всего, крайнюю нестабильность подобных периодов относительного «согласия» (попытки Кулиша в начале 1880-х, соглашение 1890–1894 гг.) и его весьма ограниченные пределы — в сторону Польши деятелей украинского движения подталкивала жесткая позиция со стороны российского правительства.

Для ситуации последней трети XIX — начала XX в. сепаратистский вариант представлялся практически не актуальным, поскольку предполагал в качестве базового условия своего осуществления радикальную перекройку всех политических отношений Центральной и Восточной Европы — понятно, что без Первой мировой войны говорить о подобном не приходилось, а катастрофические последствия последней мало кому приходили в голову еще в 1914 г., ограничиваясь скорее областью перекройки государственных границ. Предположить, что в результате мирового столкновения с лица земли исчезнут Российская, Австро-Венгерская и Османская империи, возникнет целый ряд новых государств, а оставшиеся зачастую принципиально изменят свой облик — было за пределами рационального обсуждения.

В этом отношении показателен выбор, сделанный одним из лидеров уже собственно украинского, а не украинофильского, национального движения, М. Грушевским в 1914 г. — по объявлении войны он, будучи профессором Львовского университета, направился в Киев, полагая, что в начинающейся войне интересы украинства совпа-

дают с интересами Российской империи: в случае победы союзников она должна была приобрести Восточную Галицию, т. е. осуществить воссоединение украинского народа, — и дальнейшее политическое развитие украинства мыслилось им уже в рамках внутреннего реформирования Российской империи. Стремление найти компромисс с Российской империей, мышление в ее рамках подпитывалось и собственно национальной компонентой украинского национального движения — ставящего своей целью «собрание», «воссоединение» украинского народа. Поскольку задача образования независимого украинского государства в ситуации конца XIX — начала XX в. в глазах всех реалистических наблюдателей выступала фантастической, то, за исключением радикалов, вопрос оставался лишь в том, какая из империй способна реализовать задачу «воссоединения» — политическая логика давала лишь один возможный ответ на этот вопрос, делая Российскую империю политическим игроком, способным осуществить («закончить») собрание украинского народа. Отметим прямое продолжение здесь логики не столько даже Костомарова, сколько Максимовича, еще в 1858 г. писавшего о необходимости завершения собрания «Русского мира» и возможности для украинского национального движения выступать союзником имперского центра, как, например, в борьбе против польского влияния в юго-западных губерниях или поставляя кадры для администрации Царства Польского после восстания 1863 г.

Собственно, аналогичную позицию занимал и Драгоманов в 1880-е — 1895 гг., правда, не мысливший необходимым, хотя в принципе и желательным, территориальное соединение всех украинских земель в пределах одного политического целого. Поэтому речь шла не о перспективах отделения, а о возможностях такого политиче-

ского преобразования Российской империи, которое сделало бы возможным достижение целей украинства. В этой перспективе особенно отчетливо заметно единство деятельности Драгоманова — одновременно как участника русского либерального, конституционалистского движения, обращенного к общероссийским проблемам, и как деятеля украинского национализма, поскольку достижение вторых целей мыслилось им через либерализацию и федерализацию Российской империи.

Необходимо отметить, что зачастую рассмотрение украинофильства и последующего развития украинского национального движения в 1840-х — начале XX в. определяется ретроспективной логикой — как ведущее к образованию самостоятельного национального государства. Здесь логика противников и обличителей украинофильства и украинства и национальный нарратив совпадают (с предсказуемой разницей в знаках). Однако вплоть до 1914–1917 гг. для подавляющего большинства лидеров украинства определяющей рамкой их мышления оставались существующие имперские структуры — только полное обрушение публичного порядка, наступившее в 1917 г., и динамика последующих лет принципиально изменили повестку — империя из угрозы и одновременно из силы, обеспечивающей гражданский порядок, превратилась в политическое прошлое, от которого все, кто имел такую возможность, стремились дистанцироваться. То, принадлежность к чему раньше давала преимущества (или грозила карой в случае отказа), теперь превратилось в обременение, к тому же бессильное поддержать себя. Пьер Паскаль, один из служащих французского посольства в Петрограде в 1917 г., записывал в дневнике о разговорах с фронтовыми офицерами (в данном случае с юго-западного фронта), один из которых теперь определял себя как «кавказца» и противопоставлял себя

«русским»: «Они больше не хотят быть русскими: знаю эти грустные речи» (запись от 8.IX.1917 н. с.). Это быстрые смены идентичности эпохи распада — никто не желает принадлежать к проигравшим — масса «польских», «украинских» и т. п. солдат и офицеров на улицах Петрограда, поток в посольство вспомнивших о своих «французских корнях». Когда Мих. Рябушинский после революции, в декабре 1917 г., добрался до Харькова и там собрался восстанавливать свое банковское дело, то, несмотря на то что был одним из владельцев (вместе с другими членами семейства Рябушинских) Харьковского земельного банка, он встретил сопротивление со стороны как Державного банка (так теперь называлась бывшая Харьковская контора Государственного банка), так и ряда других теперь уже украинских банковских учреждений, ссылавшихся на «заграничный характер» деятельности и т. п., будучи незаинтересованными в появлении нового игрока с большими связями в финансово-промышленном мире.

ЛЕКЦИЯ 6.

ЭПОХА РЕФОРМ

В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!

В. Г. Белинский — А. И. Герцену, 4 июля 1846 г.

Конец 1850-х — начало 1860-х принципиальным образом меняют российское общественное пространство и, соответственно, характер дебатов о национализме. Прежде всего, в эти годы возникает *общество и общественное мнение* как значимые политические факторы — процесс этот, подспудно протекавший в николаевское царствование, делается явным с первых лет правления Александра II (п. 1855–1881): возникает публичная сфера — в первую очередь в виде печати, но также общественных собраний, организаций и т. п. — с которой государственной властью необходимо в той или иной степени считаться. Собственно, формируется субъект, способный быть носителем национальной повестки — и выражать артикулированный политический запрос.

Зримым проявлением нового положения вещей станут события 1863 г., когда в ситуации польского восстания и внешнеполитического кризиса, им вызванного, имперское правительство будет апеллировать перед лицом других держав к настроениям общества, обосновывая собственную позицию, — и, соответственно, во внутрен-

ней сфере признает «общество» в качестве значимого участника происходящих процессов. Роль общественного мнения окажется значительной в обстановке балканского кризиса 1876 г., завершившегося объявлением Российской империей войны Турции весной 1877 г.: вопреки сопротивлению со стороны большей части имперских верхов, верховная власть примет решение о вступлении в войну — во многом под воздействием общественной агитации.

Общественное мнение в 1860–1870-х гг. помещено в сложные условия — поскольку не имеет законного права участия в государственной политике и более чем ограничено в обсуждении последней: единственное законное право, ей предоставленное, это одобрение — или порицание действий нижестоящей администрации, нарушающей повеления верховной власти — политическое публичное пространство, т. е. борьба за власть, отсутствует, что создает ситуацию, в которой политическое выражается неполитическим образом. Однако само пространство того, что признано обсуждаемым, существенно расширяется — общество не имеет права обсуждать решения верховной власти, но во многом свободно говорить о прошлом и предстоящем. Это создает довольно своеобразный характер русской общественности: не связанная ответственностью за свои суждения, она оказывается тяготеющей к радикализму и одновременно не имеет достаточных стимулов для занятия консервативных или умеренных позиций — поскольку политическое формально выведено за пределы обсуждения, то поддержка власти, например, расценивается либо как трансляция официальной/официозной позиции, «говорение не своим голосом» (и, следовательно, не имеющее собственного авторитета), либо как

стремление оказать воздействие на власть. Умеренная, компромиссная позиция имеет ценность тогда, когда возможна иная, однако при выведении ее за пределы обсуждаемого она оказывается либо равнозначной отказу занять ясную позицию, либо попыткой введения недозволенного в границы обсуждаемого. Слабость возникшей ситуации ярко продемонстрируют события 1880–1881 г., до «катастрофы 1 марта», когда верховная власть попытается опереться на поддержку общества, при этом продолжая отказывать последнему в самостоятельности.

Реформы 1860-х, в первую очередь крестьянская, переводят вопрос о нации в новую плоскость — понятно, что до тех пор, пока значительная часть населения империи, причем включаемая в воображаемую национальную общность, оставалась объектом, а не субъектом права, всякий разговор о нации в политическом смысле имел исключительно абстрактный или потенциально революционный характер. Напротив, в ситуации 1860-х вопрос о нации оказывается практической проблемой — потребность в индивидуальной, а не групповой лояльности, быстро возрастающая социальная мобилизация, ставящая на передний план вопросы о массовом образовании (и, соответственно, например, о языках, на которых это образование осуществляется), о местном самоуправлении и т. д. — все это вынуждает принимать решения, имеющие национальное измерение.

Вопрос о земстве будет устойчиво находиться в центре внимания на протяжении этих десятилетий — в связи с характером представительства: весьма значима непосредственная реакция одного из основных представителей позднего славянофильства, Ивана Аксакова, на объявление манифеста 19 февраля 1861 г. — в ближайшие

месяцы он выступает с призывом к ликвидации дворянского сословия, поскольку больше нет сословий, а существуют только «русские». Крестьянская реформа совершенно справедливо воспринимается как решающий шаг в процессе нациестроительства, теперь позволяющий мыслить о нации как сообществе граждан, в политическом отношении равных друг другу (при этом парадоксальным образом выступая за особый правовой режим крестьян, с сохранением ими обычного права и особой системы судов — т. е. воспроизводя сословное разграничение в иной форме). Катков, в рамках своего понимания национального сообщества, мыслит земскую реформу построенной на внесословных принципах, имущественного представительства — стремясь противостоять радикалам и обеспечить консервативность земства, он в начале 1860-х призывает сделать упор на представительстве земельных собственников, независимо от их сословного положения. Бессословная или сословная мелкая земская единица вплоть до 1910-х будет оставаться предметом дебатов, поскольку волостное управление в 1860-х гг. сохранит свой сословный характер, оставаясь органом именно *крестьянского* самоуправления, в отличие от земств.

В дальнейшем мы остановимся только на двух позициях, весьма показательных для дискуссий этих лет, взглядах Герцена эпохи его эмиграции, сделавшей его на несколько лет политической фигурой первостепенной величины, и на воззрениях второго поколения славянофилов — в них, на наш взгляд, отразились основные точки напряжения споров этого времени, позволяющие увидеть внутреннюю логику позиций и, соответственно, причины их динамики.

* * *

В «споре западников и славянофилов» Герцену довелось поучаствовать последовательно с весьма различных позиций — от сомневающегося и старающегося разобраться в аргументах сторон в начале 1840-х к горячему защитнику «западнической» позиции, через раскол «западничества» в 1846–1847 гг. к разочарованию в «Западе» и созданию собственной, глубоко оригинальной позиции, в рамках которой синтезировал многие положения противостоявших некогда сторон, в частности дав социалистическую интерпретацию русской общине, т. е. осуществив акклиматизацию «социализма» и создав «русский социализм».

Собственно, сам «спор западников и славянофилов», явное противостояние двух позиций — довольно непродолжительный эпизод в истории русской мысли, почти целиком укладывающийся в границы 1840-х гг. с прологом в 1820–1830-х. Уже к 1850-м это противостояние отошло в прошлое: символическим водоразделом служит смерть В. Г. Белинского в 1848 г. — полемисты продолжали перебрасываться аргументами, в первую очередь, правда, «западники»*, но линии противостояния быстро меняются, и уже к 1856 г. это разграничение практически ни о чем не говорит в текущих спорах. Сам Герцен в 1863 г. писал:

«[...] не мы придали учено-литературному спору тридцатых годов историческую важность в умственном развитии России, а так и было на деле. О самом споре мы не

* По причине отсутствия у «славянофилов» собственного печатного органа, а с 1852 г. и постигшего основных участников славянофильского кружка цензурного запрета, снятого только в 1856 г., уже в новое царствование.

будем распространяться: об нем писали много; мы только напомним, что одна сторона стремилась продолжить петровский переворот в смысле *революционном*, усваивая России все выработанное народами с 1789 и перенося на нашу почву английские учреждения, французские идеи, германскую метафизику. Считая западные формы гражданственности выше форм топорной работы Петра I и его наследников, они были совершенно правы; но принимая их за *единоспасающие*, общечеловеческие формы, идущие ко всякому быту, они впадали в вечную ошибку французских революционеров. Противники их возражали им, что формы, выработанные западной жизнью, хотя бы и имели общечеловеческое развитие, но рядом с ним должны были сохранить и свои частно-народные элементы, что эти элементы останутся нам чужими и не удовлетворят нас, потому что у нас другие притязания и другие препятствия, другое прошедшее и другая обстановка в настоящем. К этому присоединялась вера в элементы, лежащие в бытии народном, и раздражительная обидчивость за прошедшее.

До ясности не договорились ни те, ни другие, но по дороге было возбуждено множество вопросов; в полном разгаре спора его настигла Февральская революция».

Как уже отмечалось, в этом споре Герцен — один из наиболее заметных представителей «западничества», наряду с В. Г. Белинским, Т. Н. Грановским, К. Д. Кавелиным: блистательный публицист сначала «Отечественных записок», а затем «Современника», известный беллетрист, он куда чаще спорит со славянофилами не на страницах журналов, а в московских гостиных, часами препираясь о самых разных предметах с А. С. Хомяковым, не меньшим, чем он сам, острословом и диалектиком, охотно и вдумчиво беседует с братьями Киреевскими, Иваном и Петром, которых, в отличие от Хомякова, он уважает

и признает не только их ум, но и нравственный авторитет, дружит с молодым К. С. Аксаковым и притесствует с Ю. Ф. Самариным. Разногласия между «западниками» и «славянофилами» все возрастают, во многом благодаря петербургским западникам во главе с Белинским, — заочная полемика, не говоря уже о характере Виссариона Григорьевича, сильно способствует резкости постановки вопросов и решительности выводов; заочно трудно дружить, но легко ссориться — и в 1844 г. два кружка разойдутся окончательно. Идейные споры перерастали в личное отчуждение; о попытке примирения, предпринятой год спустя, Герцен вспоминал в сопровождении следующей сентенции:

«Примирения вообще только тогда возможны, когда они не нужны, то есть когда личное озлобление прошло или мнения сблизились и люди сами видят, что не из чего ссориться. [...] Попытка нашего Кучук-Кайнарджи очень скоро оказалась невозможной, и бой закипел с новым ожесточением».

Там, где дружат идеями, из-за идей и расходятся, не имея возможности ухватиться за то, что держит остальных — общность дел, знакомств, родство и свойство, житейское обыкновение. Люди, оказавшиеся вместе лишь потому, что они разделяют одни и те же идеи, обречены либо до конца держаться за неизменность этих идей, оберегать их от всякого пересмотра или выяснения деталей, которые можно понять различно, либо вынуждены разойтись, если их идеи пойдут розно:

«Если бы у нас было неминуемое дело, которое бы нас совершенно поглощало, а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганде наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?...» (IX, 212).

В 1847 г., когда Герцен уезжал на Запад и от западного круга мало что осталось — споры о бессмертии души стали здесь границей, и к последнему году в России Герцен вновь был по-настоящему близок только с Огаревым. Он уезжал, уже внутренне готовый разочароваться, — в «воображаемый Запад» было вложено столько надежд, что любая реальность не могла бы их удовлетворить. Уже в 1860-е Герцен писал, что в московский период любил Запад книжно, а «еще больше я любил его всею ненавистью к николаевскому самовластью и петербургским порядкам. Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал, что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, *западником*» (XVIII, 278).

Но помимо этого был и еще один сильный мотив к разочарованию. Белинский мог спокойно существовать, не испытав ничего подобного герценовскому пересмотру идей, — в Европу он, правда, попал почти одновременно с Герценом, но, в отличие от последнего, европейские страны и их быт его интересовали мало — и в Париже он оставался целиком погруженным в русские споры. Он был болен, чувствовал, что умирает, — он жил остатками жизни, тогда как Герцен на удивление сознавал себя молодым, все еще готовился жить. Пора подведения итогов, заката для него наступит позже, после гибели матери и сына, смерти жены — тогда, в 1852 г., он будет считать, что все закончилось и для него, и для Европы*, в этом

* «Знаменательно, — пишет Л. И. Чуковская, — что как раз тот отдел пятой части [«Былого и дум»], который посвящен перипетиям семейной драмы, открывается главой, носящей название драмы исторической: „1848“ — и чуть ранее отмечает: «В „Былом и думax“ жизнь Герцена осмыслена, пережита и воспроизведена в [...] органическом слиянии с жизнью общественной [...]», когда характеристики последней объясняют первую и наоборот — не в смысле «влияния на историю», а как жизнь «человека исторического».

случае особенно заметно расхождение времени большой истории, для которой «Герцен» только по существу и появится в эти годы, — и времени личного, для которого почти все эти годы, с 1852-го по 1868-й, пройдут в написании, переписывании, компоновке воспоминаний; Герцен будет жить теперь обращенный в прошлое — с тем, правда, как это и свойственно историзму, чтобы из прошлого не столько объяснить настоящее, сколько предугадать будущее.

В отличие от Белинского, Герцен довольно быстро вошел в европейский контекст — он перестал быть наблюдателем, а стал деятелем, сблизился с Гервегом, Прудоном, Мишле, Кине, стал частью «международной демократии», но для этого, если он желал не просто примкнуть к какому-то другому движению, стать как Рудин персонажем чужой революции*, а иметь свое собственное дело,

* См. в «Воспоминаниях» Н. А. Тучковой-Огаревой яркое описание участия в римских событиях 1848 г., несения итальянского знамени: «Когда волонтеры стали собираться в Милан, устроилась огромная демонстрация, которая, направляясь из Корсо в Колизей, по дороге остановилась перед церковью, где происходило богослужение, и просила священника благословить итальянское знамя, отправлявшееся в Ломбардию. Часть нас вошла в церковь, где все встали на колени; мы не знали, что нам делать, и стояли как посторонние; тогда к нам подошел один из революционных начальников или руководителей демонстрации и попросил нас встать тоже на колени, чтобы не оскорблять религиозного чувства толпы.

Когда мы вышли из церкви, один из них вручил мне знамя, прося меня нести его перед народом. Я пошла впереди нашей длинной колонны, держа тяжелое знамя обеими руками; остальные женщины шли около меня. [...]

В это время ко мне подошла молодая итальянка, незадолго присоединившаяся к нам.

— Я не сомневаюсь, что вы итальянка, — сказала она, — но я из самого Рима, а потому я думаю, что мне следует нести это знамя.

Я наклонила голову в знак согласия и молча передала ей знамя, хотя мне было очень грустно с ним расставаться: я несла итальянское знамя с такою гордостью, с таким восторгом».

то им могло стать только русское. Как и многие после него, Герцен в Европе внезапно осознал, что можно быть французом, англичанином, итальянцем, немцем или бельгийцем, но нельзя быть просто «европейцем» — быть таковым можно было только в России, но не в Европе. Вопрос, стоявший перед Герценом еще в период его московских споров и в новом ракурсе представший перед ним на Западе, — об исторических судьбах России, о том, какое место ей суждено занимать в мире.

Европа, которую увидел Герцен, оказалась не только миром торжествующего мещанства — но и миром, в котором он не увидел никакого другого имеющего шансы осуществиться идеала, кроме мещанского. Работник, восстающий против существующего порядка, в конце концов предстал ему как мечтающий стать тем же самым буржуа — их спор оказался не спором о желаемом, а лишь раздором между теми, кто уже обладает и не желает уступать своего положения, и теми, кто не обладает, но надеется обладать. Впрочем, в свои оценки Герцен был непостоянен — то он готов был разглядеть обещание иного, лучшего в европейской жизни, то вновь склонялся к пессимизму, из общего приговора он с охотой исключал Италию, делал многочисленные оговорки об Англии — так что оставались, по существу, под именем «Европы» Франция и Германия, а учитывая, что немецкой жизни Герцен не знал и не любил, — для него, не составлявшего здесь исключения, «Европа» оказывалась практически синонимичной Франции.

Здесь вновь необходимо напомнить, что Герцен был и оставался русским баринком — независимо от своих сознательных взглядов, он впитал все привычки московского быта. Одна даже форма его эмигрантской публицистики несет явные следы своего происхождения: он

любил обращать свои передовые статьи и размышления в «письма» — «письма к противнику», «письма к будущему другу», «письма к старому товарищу», многочисленные публичные письма к государю императору Александру Николаевичу. Константин Леонтьев, в советской историографии традиционно (и нельзя сказать, чтобы не заслуженно) носивший имя «реакционера», закономерно симпатизировал публицистике Герцена — крайности сходились в том, что одинаково отвергали существующий порядок вещей и то ближайшее будущее, которое он обещает. Герцен надеялся убежать от него в «другое будущее», оттого неизменно и настойчиво подчеркивая непредопределенность истории, не жесткую детерминированность ее путей, зависящих от человеческого решения, консерватор надеялся замедлить ход событий, реакционер — повернуть историю вспять, в конце концов для того, чтобы найти там другое начало.

Отвращение к мещанству, «торжествующему порядку» не стало для Герцена поворотом к консерватизму хотя бы потому, что у него изначально не было ничего, что сохранять — он был юридическим наследником, но незаконнорожденным сыном, он был русским баринком по образу жизни, по привычкам, но при этом «не вполне своим», занять свое место — с самого начала означало для него это место создать. Но создавать он хотел именно «свое»: в отличие от многих современников, он не верил в железные законы исторической необходимости, потому не уверял, но питал надежду на возможность для России сказать свое слово в мировой истории, решить те вопросы, которые Европа не могла решить, — здесь сближаясь не столько со славянофилами, сколько с Чаадаевым, писавшим в «Апологии сумасшедшего» (1837):

«Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый новый день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым.

Мы никогда не жили под роковым давлением логики времен [...]. Воспользуемся же огромным преимуществом, в силу которого мы должны повиноваться только голосу просвещенного разума, сознательной воли. Будем помнить, что для нас не существует непреложной необходимости, что, благодаря небу, мы не стоим на крутой покатости, увлекающей столько других народов к их неведомым судьбам; что в нашей власти измерять каждый шаг, который мы делаем, обдумывать каждую новую идею, задевающую наш разум; что нам позволено надеяться на благоденствие еще более широкое, чем то, о котором мечтают самые пылкие служители прогресса [...]»*.

Но если чаадаевская свобода — это свобода от прошлого, свобода «чистого листа»**, то Герцен, надеясь на великое будущее, одновременно укореняет его в прошлом, в особенностях русского социального строя, в русской общине — перенимая славянофильский взгляд

* *Чаадаев П. Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. Т. 1. — М.: Наука, 1991. С. 535.

** «Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа* и *Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли, то, что он сделал, было возможно лишь среди нации, чье прошлое не указывало ей властно того пути, по которому она должна была идти, чьи традиции были бессильны создать ей будущее, чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это, очевидно, потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление» [Там же. С. 527].

и вместе с тем лишая его религиозной составляющей. Прошлое России дает ей возможность иного, чем у Европы, будущего — более того, дает ей возможность стать освободительницей человечества, найдя решение социального вопроса. Разумеется, между славянофилами и Герценом останется пропасть — атеизм был для него критерием интеллектуальной зрелости и интеллектуальной честности, способности смотреть на мир, воспринимая его таким, как он есть, не теша себя иллюзиями и не вводя в заблуждение других. Его историческое видение целиком построено на возможностях и вероятностях, он не отрицает конечное торжество мещанства, он только не готов отказаться себе в праве осуждать его — финал истории может быть отвратителен, но зритель вправе оставить представление.

В свою очередь менялись и славянофилы — возможность общественной деятельности, открывшаяся на исходе Крымской войны, побуждала их, как и Герцена, не к пересмотру взглядов, но к отказу от ригоризма, к поиску союзников. Быть согласным в одном теперь не подразумевало требования быть согласным и во всем прочем, потребность действовать значила искать соглашения по конкретным вопросам, согласие видеть Россию предначиненной или способной пойти своим собственным историческим путем теперь оказывалось само по себе ценным признанием — если до того важнейшим было стремление сохранить чистоту рядов, быть в кругу хоть малой, но верной общины единомышленников, то теперь много значила способность привлечь других — полусогласных, попутчиков, симпатизантов.

Разведет окончательно Герцена и славянофилов отнюдь не разница в понимании философии истории или в (анти)религиозных убеждениях, а польское восстание 1863 г. Впрочем, и здесь все далеко от однозначности —

так, братья Елагины (по матери приходившиеся братьями Петру и Ивану Киреевским) решительно выступили против военного подавления польского восстания, да и позиция Ивана Аксакова была длительное время далека от определенности, он пытался одновременно осудить восставших и отмежеваться от правительства, найти некий «третий путь». Однако в конечном счете ведущие представители славянофильства, такие как Аксаков и Самарин, деятельно поддерживали правительство — для них оказалось невозможным противопоставить «страну» и «государство», последнее при всех своих недостатках понималось как историческая форма народа, а польское восстание — как попытка не освободить польский народ, а восстановить польскую государственность, обеспечивающую польское господство над Белоруссией и Украиной. Если Герцен фактически воспроизводил лозунг «*Za naszą i waszą wolność*» («За нашу и вашу свободу»)*, то для его славянофильских оппонентов речь шла о том, что под требованием «свободы» скрывалось притязание на господство.

* В первые месяцы восстания Герцен писал: «Мы с Польшей, потому что мы за Россию. Мы со стороны поляков, потому что мы русские. Мы хотим независимости Польше, потому что мы хотим свободы России. Мы с поляками, потому что одна цепь сковывает нас обоих. Мы с ними, потому что твердо убеждены, что нелепость империи, идущей от Швеции до Тихого океана, от Белого моря до Китая, не может принести блага народам, которых ведет на смычке Петербург. Всемирные монархии Чингизов и Тамерланов принадлежат к самым начальным и самым диким периодам развития — к тем временам, когда сила и обширность составляют всю славу государства. Они только возможны с безвыходным рабством внизу и неограниченным тиранством наверху. Была ли нужна или нет наша имперская формация, нам на сию минуту дела нет — она факт. Но она сделала свое время и занесла одну ногу в гроб — это тоже факт. Мы стараемся от всей души помочь другой ноге.

Да, мы против империи, потому что мы за народ!»

Для Герцена 1863 г. явился тяжелейшим испытанием — он с предельной ясностью обнаружил, что русское общественное мнение отвернулось от него. На протяжении всех первых месяцев восстания он призывает голоса из России, надеется, что поддержка, полученная правительством, — лишь показная, увещевает тех, кто, как он думает, молчит из страха, заговорить:

«Прежде по крайней мере, засекая целые деревни для аракчеевских поселений, усмиряя крестьян от Пугачева до Бездны, офицеры молчали — может, они не понимали, что делали. Теперь и этого оправдания нет. Они идут с полным сознанием, они подписывают адреса добровольной преданности.

И все это падает на народ. Его обвинят в племенной ненависти, в алчной стяжательности, его обвинят в том, что для него дороже воли сила, что, упоенный своей гордыней, он готов быть рабом для того, чтоб покичиться тем, что может в цепи ковать других... Что же после этого может быть естественнее, как ненависть к такому народу всех остальных?

...Если б мы верили, что русский народ в своем азиатском раболепии любит господство над другими народами, и в силу этого выносит рабство, и в силу этого станет теперь за правительство, против Польши, нам осталось бы только желать, чтоб Россия как государство была унижена, обесславлена, разбита на части; желать, чтоб оскорбленный и попраный народ русский начал новую жизнь, для которой память прошедшего была бы угрызением совести и грозным уроком.

Но не будем клеветать на него: нет доказательств, что он за эти злодеяния».

И вновь:

«Было время, в которое высоко ценилась тихая слеза сочувствия, рукопожатье и шепотом сказанное слово участия с глазу на глаз.

Этого мало теперь.

Тогда все молчало. Власть молча продавливала грудь, молча ехали кибитки, молча плелись ссыльные, молча смотрели им вслед оставшиеся. Говорить было трудно, что-то не понималось, не было ясно; мы ни себя, ни народа порядком не знали... был общий катехизис, очищавший нас, но далекий от приложения. [...]

Перед говорящим молчит раб. Слово ровно принадлежит мне *и ему*. Слово принадлежит всякому, слово — начало свободы. Говорите же, говорите, потому что вам молчать нельзя. От вас ждут речи!»

В скором времени Герцену пришлось убедиться в истинном, не показном характере этой поддержки. Спустя несколько месяцев он писал:

«Нам не приходится роптать, а с сокрушенным сердцем подумать о самих себе. Всего больше виноваты люди, страстно желавшие блага русскому народу, любившие его темным инстинктом и пророческой мыслью, магнетизмом и пониманьем, чувствовавшие, что время настает, и не умевшие ничего сделать вовремя.

Что винить правительство за то, что оно защищает себя всем чем ни попало! Да и виновато ли оно в том, что при первом едва-едва освобожденном слове литература его продала; виновато ли оно, что, пересаживая науку с короткой цепи на длинную, правительство с удивлением нашло новую полицию в университетах и гласное III отделение в журналах? Мы должны себя винить».

Иван Аксаков со своей стороны противопоставлял Герцена Бакунину и под псевдонимом «Касьянов» писал «из Парижа»:

«Но кого мне искренно жаль, — так это Герцена. Вы знаете резкую противоположность наших основных воззрений, вы знаете, как я смотрю на „Колокол“, — но тем не менее я многое прощал этому человеку ради высокой искренности его убеждений и всегдашней готовности отречься от своего взгляда, если он убеждался в его ошибочности. Мне случилось его видеть вскоре после Восточной войны, и он рассказывал мне, какой мучительный год он прожил один в Англии, вдали от России — осажденный со всех сторон сильнейшим неприятелем, с каким лихорадочным трепетом брался он каждое утро за газеты, боясь прочесть в них известие о взятии Севастополя, как гордился его мужественной обороной. Когда я упрекал его за вредное влияние на Русскую молодежь, в которой его сочинения развивают кровожадные революционные инстинкты, и указал на одну фразу его статьи в „Полярной Звезде“, Герцен оправдывался с жаром, отклонял от себя упрек в кровожадности, старался дать иное толкование своей фразе, и положительно уверял, что не принимал ни малейшего участия в воззваниях к раскольникам, незадолго перед тем перехваченных в России».

Последующие годы стали годами упадка, сомнений, попыток разобраться с происшедшим и вновь овладеть общественным мнением — конфликтов с «молодой эмиграцией», не признававшей его авторитета, но пытавшейся использовать последний, разочарования — и перед смертью попыток образумить двух своих старейших товарищей, Огарева и Бакунина, привить должное сомнение и здравый смысл к революционному энтузиазму, радикализму ниспровержения, т. е. выступить в той самой роли, в какой старые московские друзья старались вразумить на свой лад Герцена за десять с небольшим лет до того.

Особое место Герцена в истории, начатой спором западников и славянофилов, заключалось в первом варианте синтеза этих двух видений русской истории и места России в мире, сохранявшим универсализм и в то же время утверждавшим историческое своеобразие, вбирающем русскую историю не как бесплодный перечень ошибок и уклонений, не как историю отставания и попыток догнать, воссоединиться с мировой историей, но как хранение начал, которые могут стать новым принципом, новой идеей, способной обогатить человеческое общежитие. Он предложил атеистический и антигосударственнический политический проект, который давал интеллигенции не только роль агентов модернизации в пространстве империи, но и основание для голоса во внешнем мире — не только учеников вовне и учителей внутри, но имеющих право на свой собственный голос в сообществе народов — причем говорящий от лица справедливости. Уникальность Герцена или, возможно, уникальность его исторического момента в том, что справедливость политическая, социальная и личная, индивидуальная оказывались не конфликтующими друг с другом.

* * *

Если Герцен эволюционировал быстро — выстраивая свою позицию как «третью», стоящую над спором «западников» и «славянофилов», то еще более любопытна эволюция славянофильской мысли. Конец 1850-х стал для нее переломным этапом: во-первых, по сугубо биографическим обстоятельствам — всего за несколько лет, в период между 1856 и 1860 гг., уходят из жизни наиболее заметные на предшествующем этапе деятели славянофильства: в 1856 г. умирают братья Киреевские,

в 1858 г. не стало Сергея Аксакова, а два года спустя умирает его старший сын, Константин, в том же 1860 г. от холеры погибает и Хомяков — теперь славянофильство представлено теми, кто ранее находился в тени, в первую очередь Иваном Аксаковым и Юрием Самариным. Во-вторых, принципиально меняется ситуация — и на эту новую ситуацию славянофилы деятельно отзываются: как уже отмечалось, возникает возможность публичной дискуссии, значимость общественного мнения становится очевидна всем — и славянофилы очень активно, особенно учитывая размеры кружка, заявляют себя в публичном пространстве: в 1856–1860 гг. выходит славянофильский журнал «Русская беседа», в 1861–1865 гг. Аксаков издает газету «День», вокруг которой соединяются не только и даже не столько славянофильские авторы, но и достаточно широкий круг сочувствующих, — славянофильство выходит за пределы личного обмена мнениями, становится заметно не только как предмет обсуждения, но и обретает свой слышимый голос, в 1867–1868 гг. на средства московского купечества, преимущественно старообрядческого, Аксаков издает ежедневную газету «Москва», чья полемика с Министерством внутренних дел на долгое время привлекает общее внимание. Активно используются и доступные средства зарубежных изданий — в 1867 г. Самарин печатает в Праге не допущенный к опубликованию в России второй том собрания сочинений Хомякова, включающий его богословские работы, на всем протяжении 1860-х — начала 1880-х средствами зарубежных русских типографий будет пользоваться Кошелев, доводя до публики свои взгляды по текущим вопросам русской внутренней политики; с конца 1860-х и вплоть до своей кончины в 1876 г. в Германии Юрий Самарин будет публиковать выпуски «Окраин России», ведя це-

ленаправленную атаку на положение остзейцев в Российской империи, на особый статус Остзейских губерний и т. д.

Наиболее важно то, что теперь славянофильство перестало быть собственно философской доктриной — возможность общественной деятельности и публичной полемики превратило славянофильство на втором этапе в одно из наиболее заметных направлений общественной мысли, деятельно обсуждающей и занимающей отчетливую позицию по всем основным практическим вопросам русской жизни того времени. Если «старшие» славянофилы уделяли преимущественное внимание вопросам историософии и религиозной проблематике, то Ивану Аксакову и Юрию Самарину надлежало в рамках данного учения найти ответы на конкретные вопросы — иными словами, преобразовать славянофильство в политическую программу. Новая доктрина была продолжением воззрений Константина Аксакова, в 1848–1849 гг. выработавшего концепцию «Земли» и «Государства» как двух основных начал русской жизни и сформулировавшего широко известный тезис о «безгосударственности русского народа». Утверждая безгосударственный характер русского народа, Константин Аксаков в то же время требует свободы «внутренней жизни», отрекаясь от каких бы то ни было политических требований, он одновременно стремится утвердить (в форме исторического описания, приобретающего нормативный характер) невмешательство государства в жизнь «Земли». Константин Аксаков убеждает правительство, что ему нечего опасаться «народа», поскольку «народ» безразличен к делам правления:

«Россия никогда не обоготворяла правительства, никогда не верила в его совершенство и совершенства от него требовала... смотрела на него, как на дело вто-

ростепенное, считая первостепенным делом веру и спасение души — и поэтому революция чужда совершенно России и существующий исконный порядок в ней крепок».

Тот же тезис Константин Аксаков повторит в 1855 г., в записке «О внутреннем состоянии России»:

«Люди, не верующие в совершенство правительства, не поклоняющиеся ему, знают, что лучшая форма из правительственных форм есть монархическая, революция есть для них ложь по началам христианства и по выводам рассудка».

«Государство», по Константину Аксакову, тогда становится в России вредным, когда, уклоняясь от своих начал, пытается подменить собой «Землю». С петровских реформ «правительство <...> внесло в русскую жизнь западное понятие о власти, стало изъяслять притязание решать все задачи жизни, вмешивалось в русский быт и, таким образом, стало, хотя отчасти, в положение правительства западного. Часть России, увлекшись Западом, ту же минут преклонилося перед правительством, как пред кумиром — и ту же минуту начала революционные попытки». В статье 1857 г. «Опыт синонимов. Публика — народ» Константин Аксаков попытается отчетливо развести эти понятия, понимая под «публикой» бывшую часть «народа», которая «отказалась от русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла над поверхностью. <...> Публика является над народом как будто его привилегированное выражение; в самом же деле публика есть искажение идеи народа». Публика заслоняет собой народ, и она же противоборствует с правительством, являясь его порождением. В письме к брату, Г. С. Аксакову, в 1849 г. Константин

свои надежды обращает на правительство и одновременно противопоставляет свою позицию не только революционному, но и консервативному направлению мыслей:

«Подражание введено самим правительством, то есть Петром, и от правительства мы вправе ожидать возвращения на русскую дорогу. Нам стоит только быть русскими, чтобы удалиться от западного зла... Напрасно думают иные, что консервативность западная хороша; консервативность может обратиться в революционность, как скоро консервативность эта — западная. Надо помнить, что будучи сторонами одной и той же жизни, они могут переходить одна в другую, ибо консервативность на Западе предполагает уже революционность и есть только ее противоположность; она вызвана врагом, против которого борется. Русская же консервативность не имеет врага, ибо в русском народе нет духа революции. Стоит нам только быть русскими — вот мы и консерваторы».

Однако «быть русскими» вполне можно только при условии, что «Земля» и «Государство» станут в «нормальные отношения». Н. И. Цимбаев отмечает: «Из теории „негосударственности“ К. С. Аксаков выводит идею о существовании неотъемлемых народных прав (свободы слова, мнения, печати, автономности внутренней жизни народа), которые он провозгласил правами неполитическими, не подлежащими контролю со стороны государства». Всем этим суждениям не хватало конкретности, но по условиям места и времени данный недостаток являлся достоинством — для Константина Аксакова речь шла о попытке убедить правительство дать некоторое «пространство внутренней автономии», допустить существование внегосударственной жизни, дать «земле — полное право мнения и слова». Но то, что было уместным

и достаточным в конце 1840-х — в 1850-е гг., оказалось явно недостаточным в начале 1860-х: бинарные оппозиции «Земли» и «Государства», «народа» и «правительства», «народа» и «публики» оказывались слишком простыми, чтобы с их помощью можно было описать протекающие процессы и тем более определить свою позицию по отношению к ним.

Отвечая на вызовы времени, И. С. Аксаков приступил к пересмотру концепции брата — результаты которого отразил в цикле статей «О взаимном отношении народа, общества и государства». Вопрос, на который отвечает Аксаков в своих статьях, формулируется им следующим образом: «что такое общество, и какое его значение в России, между Землею и Государством?». Разграничивая понятия, Аксаков выстраивает следующую систему:

1. Под **народом** «в тесном смысле и более строгом» понимается «*простой* народ, то народное множество, которое живет жизнью непосредственной. <...> Народ состоит из отдельных единиц, имеющих каждая свою личную разумную жизнь, деятельность и свободу; каждая из них, отдельно взятая, не есть народ, но все вместе составляют то цельное явление, которое называется народом и в котором исчезают все отдельные личности. Поэтому народ не есть агрегация или совокупность лиц с их совокупною деятельностью, а живой, цельный духовный организм, живущий и действующий самостоятельно и независимо от лиц, составляющих народное множество».

Народное творчество (результатом которой являются соответствующие формы народной жизни) является бессознательным: «Народные единицы не *замечают* здесь участия своей личной мысли, участия однако несомненного; здесь нет *посредствующего* действия мысли между

отдельною личностью в народе и народом. Как самое народное творчество принадлежит в с е м у народу, а не отдельным лицам, так в с е м у же народу принадлежит пока и сознание этого творчества» — т. е. перед нами вполне типичная и уже хорошо знакомая тогдашней российской аудитории романтическая концепция народа и народного духа (творчества), из которой следует предсказуемый через сделанный акцент на бессознательности переход к «обществу».

2. Общество «есть народ на второй ступени своего развития, народ самосознающий», когда «личность, поглощаемая *в народе*, существующая и действующая в нем не сама по себе, а как часть, атом народного организма, получает вновь свое значение *в обществе*, но с тем, чтобы путем личного подвига и личного сознания утвердит свою связь с народом и воссоздаст новую высшую, духовную цельность народного организма». Общество, настаивает Аксаков, тем не менее «*не есть явление политическое*, <...> сила его есть сила нравственная, сила общественного мнения, и <...> орудие деятельности общества — есть *слово* <...>. Как скоро раздается общественное слово, как скоро оно является как *власть имеющее*, — мы познаем существование общества». Отметим, что хотя личность по Аксакову имеет значение не безусловное — она может быть оправдана через восстановление прежней народной цельности на новом уровне, т. е. через приведение ее к самосознанию, однако сам данный акцент на личности отнюдь не является общеславянофильским — скорее количество оговорок и ограничений, особое подчеркивание не безусловной ценности личности является предосторожностью автора по отношению к представителям славянофильского лагеря. Так, например, в 1853 г., заочно беседуя с А. И. Кошелевым, предпочитавшим простые бинарные схемы и сближав-

шийся в своей критике Запада скорее с Погодиным и Шевыревым, Аксаков писал (8.XII, из Харькова): «Если Запад грешит развитием личности, то мы, кажется, грешим безличностью, т. е. уничтожением личности всюду, в семье, в общине и преимущественно в сословии духовном и в жизни церковной».

В рамках того же романтического видения Аксаков уточняет: «общество ни в какой данный момент не может называться полным выражением народного самосознания. Оно есть *деятельность* народного самосознания, которое постоянно возрастая и усиливаясь, приближает народ к его конечной цели, к самосознанию», т. е. «народ» мыслится как субстанциальная основа (и общества, и государства), всякое выражение которой является неполным, ограниченным.

3. Государство возникает раньше общества, являясь как «внешнее определение, данное себе народом; деятельность его, т. е. государства, и сфера его деятельности — чисто внешние». В согласии с либеральной доктриной Аксаков формулирует надлежащий порядок вещей: «Государство и государственное начало должны быть отвлечены от жизни народа и общества на поверхность, и оставаться в тех скромных пределах, какие полагает им духовная и нравственная деятельность самого общества». Однако в отсутствие или при неготовности общества государство оказывается вынуждено брать на себя задачи, ему не принадлежащие, «создает *подобие самого общества*, точно так же как и *подобие свободы, подобие независимости от правительства, подобие вольной общественной деятельности* <...>. Разумеется, все такие старания тщетны, потому что правительство в таких случаях пытается, в то же время, дать *направление* общественному развитию, создать общество в *известном* духе и на *известных* началах, согласно

своим целям». В отсутствие общества исчезает для народа возможность «деятельного поступательного движения, деятельной, активной силы; он беззащитен против государства и может противопоставить ему лишь силу пассивную, силу в охране, в сбережении своих начал, существенных элементов своей народности».

Делая упор на личной свободе, Аксаков оказывается близок к представлению о «новой свободе» Бенжамена Констана в противопоставлении «древней», т. е. свободы в частной сфере в противовес свободе в сфере публичной, и, как и Б. Н. Чичерин, мыслит сохранение самодержавия в России необходимым для этих свобод, однако в отличие от позиции последнего акцентируя, что право находит свою опору в общественном сознании, в противном случае оставаясь пустым звуком: «никакие законы не имеют прочности и живительного действия без помощи общественного сознания»; «никакие учреждения, как бы свободны они ни были, никакие представительства, никакие *политические сословия*, никакая аристократия и демократия — не могут заменить *общества* и своею деятельностью восполнить недостаток деятельности *общественной*; отсутствие общественной деятельности или бездействие общественной жизни, как жизни народного самосознания, — делает народ бессильным и беззащитным, а государство несостоятельным, — хотя бы и существовали политические сословия и даже представительные учреждения»; так, например, утверждает Аксаков, «в Англии с XIII века была и конституция, и парламент, и независимое *политическое* сословие (в которое некоторым нашим публицистам так хочется пожаловать Российское дворянство!), — была и революция 1649 года: однакож, начало Английской с в о б о д ы считается с революции 1688 года, с той революции, которая не пролила почти никакой

крови, и которая была скорее о б щ е с т в е н н ы м движением, чем народною революциею в обыкновенном смысле слова».

Именно в отсутствии или, по крайней мере, слабости общественной жизни видит Аксаков основную современную проблему России и в то же время полагает, что для ее формирования существуют все условия: «Нам недостает внутренней, общественной жизни, недостает глубоких убеждений, недостает самостоятельности, недостает силы, *силы общественной* <...>! Проснуться, ее, эту силу, вызвать, ей поработать, ее созидать — вот к чему мы должны стремиться, все, всем обществом, от мала до велика, — вот в чем наше спасение и охрана, вот единственное условие нашего развития и преуспевания!..», причем общественная среда мыслится как бессословная: «Чем меньше сословий, чем меньше перегородок, разделяющих людей между собою, тем легче их соединение, тем возможнее дружная деятельность единиц». Фактически Аксаков мог настаивать на «неполитическом» характере «общества» в своей интерпретации лишь путем крайнего сужения понятия «политического», сводя его до «деятельной, политически организованной власти» и тем самым формулируя тезис о формировании политического и гражданского общества, избегать требований политического характера. Новая славянофильская концепция предполагала «нормализацию» русской истории — как некий «третий» путь между западническим видением и традиционным славянофильском, одинаково акцентировавших петровский разрыв, лишь расходясь в оценке его и его последствий. Вместо абсолютного противопоставления допетровской Руси и петровской России Аксаков мыслит «петербургский» период русской истории как диалектическое противоречие, логически необходимую стадию

развития — тем самым сближаясь, в частности, с «почвенниками», группировавшимися вокруг петербургского журнала «Время», издававшегося братьями Достоевскими. Причем в этом он следует за старшим поколением славянофилов — так, Хомяков еще в статье «О старом и новом» (1839) писал:

«Много ошибок помрачают славу преобразователя России, но ему остается честь пробуждения ее к силе и к сознанию силы. Средства, им употребленные, были грубые и вещественные; но не забудем, что силы духовные принадлежат народу и церкви, а не правительству; правительству же предоставлено только пробуждать или убивать их деятельность каким-то насилием, более или менее суровым. Но грустно подумывать, что тот, кто так живо и сильно понял смысл государства, кто поработил вполне ему свою личность, так же как и личность всех подданных, не вспомнил в то же время, что там только сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода».

В практическом плане трансформация славянофильской доктрины, осуществленная Аксаковым, позволяла явственно выразить и сформулировать, избегая открытого политического конфликта, требования значительной части либеральной общественности. Умеренный либерализм, выступая за предоставление широких прав местному самоуправлению и одновременно подерживающий самодержавие, воспринимая его как силу, противостоящую угрозе аристократического конституционализма, силу, способную проводить масштабные реформы либерального содержания, получил себе в концепции Аксакова достаточно полное выражение, что подтверждается распространенностью славянофильских настроений в земской среде вплоть до революции 1905 г.

В последующие годы позиция Аксакова отчасти смягчилась, в практическом плане: в отличие от начала 1860-х, когда он рассматривал «общество» уже сформировавшимся, в дальнейшем он стал гораздо скептичнее в своих оценках, но общие контуры концепции были сохранены. Так, в 1881 г. Аксаков писал: «Нам необходима свобода умственной жизни, иначе мы не добудем самосознания и не достигнем полноты развития народного духа, — следовательно не исполним своего долга...» Не претерпела существенных изменений и политическая цель. Когда весной 1881 г. Аксаков задумал издать сборник своих статей из газеты «Русь», озаглавленный «Взгляд назад», то К. Н. Леонтьев, оказавшийся его цензором, так суммировал взгляды автора:

«Самодержавный Царь и Земство — больше ничего, или почти ничего. Все посредствующее (т. е. вся или почти вся администрация) должно исчезнуть, „атрофироваться“, как выражается автор. <...> Управлять „по Божьему“ способны только два элемента — „мир“ и „Царь“. <...> Государству останутся только те отрасли управления, которые не могут быть дробимы. Государственное хозяйство, внешняя оборона, сношения с чужими странами, государственное законодательство и т. д.».

Разумеется, это текст, прочитанный глазами человека, к тому времени ставшего принципиальным противником И. С. Аксакова — однако от этого ставшего читателем еще более внимательным и вдумчивым. Соглашаясь, что Аксаков является противником конституции, Леонтьев отмечает:

«Как же не счесть планом глубочайшего переустройства такой план реформ, при осуществлении которого самые существенные проявления власти — забота

о сборе податей и ответственность за политическую безопасность* — перейдут вполне в руки Земства? Такое „изменение“, пожалуй, еще радикальнее всякой непрочной и поверхностной, центральной конституции, не касающейся до корней народной жизни».

Существенным образом изменив и конкретизировав учение своего брата, Иван Сергеевич Аксаков создал достаточно отчетливую концепцию «неполитического либерализма», где постоянное указание на «неполитичность» могло повторяться и утверждаться лишь за счет предельно суженного понимания «политического», высвобождая тем самым пространство для складывания *политического общества* как пространства оформленного общественного мнения.

Славянофильство в политическом аспекте, как национальный проект, предполагало конвертацию существующей этноконфессиональной идентичности в национальную. Специфика положения славянофильского проекта заключалась в том, что он предполагал одновременное согласованное продвижение по двум параллельным линиям: не только этноконфессиональную идентичность надобно было преобразовать в национальную, но одновременно первую перевести из коллективной в индивидуальную.

В западноевропейской истории данный процесс получил название «второй христианизации», основным событием в ходе которой стала Реформация и Контрреформация, справедливо зачастую обозначаемая как

* Имелось в виду, что функции полиции должны быть переданы земствам: за Министерством внутренних дел Аксаков полагал нужным оставить лишь надзор и возможность опротестования действия местных (губернских, уездных и волостных) самоуправляющихся общин (одновременно настаивая на их бессословном характере).

«католическая Реформация»: верующий теперь должен был осознать свою веру как индивидуальный выбор, а не коллективный, предписанный ему с рождения — Реформация открыла в Европе ситуацию «выбора веры» и, следовательно, в этих условиях выбором оказывалась не только перемена вероисповедания, но и сохранение своей старой веры. Вторая христианизация означала на практике целый ряд связанных между собой процессов, начиная с массового образования и перевода Библии на народные языки (для многих из которых сам процесс перевода и был процессом перехода их в состояние языков литературных) или создания религиозной литературы, обращенной к широким кругам, катехизация, изменение характера приходской жизни и религиозных практик (например, введение практики регулярного причастия, контроль за посещением богослужений и т. д.)*.

В случае России этот переход приходится на XIX в. — относительно поздний характер «второй христианизации» в данном случае был и препятствием для процессов нациестроительства, и открывал возможности, отсутствовавшие в других случаях. Препятствием было отмеченное выше обстоятельство, что процессы формирования индивидуальной национальной и конфессиональной идентичности накладывались друг на друга —

* И. В. Киреевский, описывая в статье «Девятнадцатый век» (1832) происшедшие перемены, отмечает, что религия теперь «не один обряд и не одно убеждение. Для полного развития не только истинной, но даже ложной религии необходимо единомыслие народа, освященное яркими воспоминаниями, развитое в преданиях односмысленных, сопроникнутое с устройством государственным, олицетворенное в обрядах однозначительных и общенародных, сведенное к одному началу положительному и ощутительное во всех гражданских и семейных отношениях».

однако это же обстоятельство позволяло использовать конфессиональную политику в целях нациестроительства. Ярким примером этого рода стала с 1830-х политика в отношении униатов — стремясь к ослаблению польского национального движения, препятствуя ему в обретении массовой опоры в сельском населении юго-западных и северо-западных губерний, через осуществление аналогичной смычки современной польской национальной идентичности с католической, имперское правительство пошло на централизованное обращение униатов в православие через присоединение униатского духовенства. В данном случае как раз слабость индивидуальной конфессиональной идентичности и одновременно крайне незначительная автономия общества от правительственной власти позволили имперскому правительству достаточно успешно осуществить религиозную конверсию. Показательно, что уже в 1870-х гг. аналогичная попытка обращения униатов в православие в Холмской губернии оказалась гораздо менее успешной — как за счет возможности, хоть и весьма ограниченной, общественного обсуждения действий светских и религиозных властей, так и за счет того, что за прошедшие десятилетия религиозная принадлежность во многом оказалась успешно интериоризирована прихожанами и, соответственно, простое «перечисление» прихожан из одной духовной юрисдикции в другую оказалось осложнено сознательным отношением к вере со стороны самих прихожан. Обратим внимание и на другой аспект имперской ситуации — «обращение» униатов в православие на исходе 1830-х гг. оказалось ограничено не границами униатских приходов, а по административной границе Царства Польского — те униатские приходы, что принадлежали к последнему, соответственно,

остались греко-католическими: обращение униатов в Холмской епархии в свою очередь было связано с изменением административных границ и выделением из состава бывшего Царства Польского Холмской губернии, переходившей под управление юго-западного генерал-губернатора.

Отсюда во многом и значение вопросов церковной реформы в публицистике поздних славянофилов: речь шла не только о том, что церкви надлежит обрести внутреннюю свободу, эмансипироваться от государства, но одновременно церковь должна была стать основой национального сообщества — так, в рамках славянофильской программы, в качестве бессословной земской единицы должен был выступать в идеале приход (в данном случае, как и во многих других, славянофилы ссылались на английский пример местной организации управления): гражданская общность одновременно оставалась конфессиональным сообществом.

Отмеченные характерные черты славянофильской доктрины, как она сформировалась к началу 1860-х гг., объясняют одновременно и ее значительное распространение в эти годы, и последующее «поправление», и быстрый упадок в 1880-е. Второе поколение славянофилов предлагало национальный проект как временно снимающий вопрос о центральном представительстве, использующий язык «деполитизации» и «деюридизации», опирающийся на существующую конфессиональную общность — это делало славянофильство в целом терпимой политической позицией в глазах верховной власти и одновременно создавало язык, на котором была возможна общественная полемика, не вступающая в открытый политический конфликт. По мере развития как процессов секуляризации, так и роста альтернатив-

ных национальных проектов, в рамках той же конфессио-
нальной общности (например, украинского), нациестрои-
тельная схема славянофилов становилась все более
архаичной (подчеркнем, что она не являлась изначально
таковой), а деполитизация — все менее привлекатель-
ной как общественная позиция в ситуации затяжно-
го конфликта власти и общества. Славянофильство как
значимая политическая позиция сходит на нет к концу
1880-х гг., оставив в наследство систему образов и по-
нятий, язык самоописания, отчасти сохраняющийся
и по сей день.

* * *

Понятно, что веер позиций по национальному вопро-
су был весьма широк — более того, отмеченное весьма
узкое пространство общественных дискуссий не позво-
ляло позициям проявляться вполне отчетливым, прояс-
ненным в своих конечных стремлениях образом. Замет-
ную роль в истории русского национализма сыграл, как
отмечалось в начале данной главы, 1863 г. — январ-
ское восстание в Польше стимулировало формиро-
вание национального самосознания. Если выступать
против польского национального движения русское
образованное общество было не готово, то претензии
польского восстания на создание Речи Посполитой
в границах до 1772 г., действия повстанцев на терри-
тории юго-западного и северо-западного краев способ-
ствовали возникновению «оборонительного национа-
лизма» в ответ на угрозу, формированию первичной
политической национальной идентичности в ответ на
возможность утраты территорий, воспринимавшихся
как часть «России». Катков, посреди почти абсолютного

молчания в русской журналистике, решительно выступил против восставших — и оказался голосом «безмолвствующего большинства». Провозглашая ценность государства, поддерживая позицию целостности империи и борьбу с повстанцами, он впервые употреблял слова, которым ранее не было места в русской журналистике: национализм и государственничество за пределами официоза. Это было открытие «общественного мнения»: внезапно для всех — для власти и оппозиции — обнаружилось, что в стране есть общество, и сила Каткова состояла в его способности в эти годы явиться его выразителем и направителем. Катков заговорил от лица нации — не оформленной, но уже переставшей быть исключительно объектом управления, обретающей собственную субъектность. И если на первых порах это движение встретило поддержку со стороны имперской власти, поскольку оказалось необходимой опорой в ситуации внешне — и внутривластного кризиса, то вскоре противоречия стали быстро нарастать в силу понятной невозможности «управлять» обществом, не вступая с ним в диалог, используя исключительно «в меру надобности»*.

Польское восстание привело к оформлению нескольких ключевых политических позиций по национальному

* А. И. Миллер, акцентируя социальный аспект, пишет, что Катков «стремился сделать, по крайней мере условную, лояльность режиму составной частью национальной идеологии. Однако для властей, весьма ценивших редактора „Московских ведомостей“, даже такой его национализм был частью „страсти к оплебейанию России“. Чем дальше он развивал свои националистические идеи, тем регулярнее власти натягивали цензурные вожжи»; «Начальник III отделения П. А. Шувалов прямо обвинял Каткова в стремлении „возбуждать и поддерживать беспорядки в окраинах империи“, имея в виду его русификаторский пафос».

вопросу, претендовавших на возможность реального осуществления в государственной политике:

1. Катковская программа, предполагавшая в качестве определяющего признака нации «культуру» и ориентированное на французский опыт нациестроительства. Применительно к «польскому вопросу» это означало господство принципа *real politic* — удержание Польши под своей властью, поскольку любое другое решение приводило бы к еще бóльшим политическим издержкам (возникновение независимой Польши с территориальными притязаниями на земли Украины и Белоруссии). Русские в этой перспективе мыслились как «имперская нация», открытая по культурному принципу и проводящая активную политику ассимиляции иных национальных групп. Трансформация империи предполагалась как создание национальной метрополии — с имперской политикой в отношении окраин: политика «гегемонии» в отношении Финляндии и Польши и колонизационной политикой в отношении «восточных» и «южных» колоний.

2. Славянофильская программа, предполагавшая трансформацию империи с образованием «национального ядра» по типу национального государства на конфессиональной основе («русский — в первую очередь православный»), что требовало этноконфессиональной демаркации. Для упрочнения национального состава в отношении Польши цель мыслилась как образование Польского государства «в этнических границах», а на территориях, бывших предметом спора, «укрепление» (т. е. создание) общерусской («русской») идентичности.

3. «Валуевская» программа, выраженная в докладных записках и конкретных действиях министра внутренних дел. Она предполагала ставку на «политиче-

скую нацию» (в терминологии конца XVIII — начала XIX в.), т. е. компромисс между аристократическими элитами, и наднациональную политику — инкорпорацию «западных окраин» путем предоставления политических прав (образование единого политического пространства, совпадающего с границами империи).

Каждая из этих программ достаточно отчетливо фиксировала тот социальный слой, на который она опиралась. Это и делало «проекты будущего» если и не в равной мере реалистичными, то во всяком случае предполагавшими конкретные политические программы ближайших десятилетий. «Валуевский» проект был ставкой на плавную трансформацию империи, в которой высшее правительство покупало поддержку местных элит, давая им доступ к политической власти в центре посредством создания ограниченной представительной системы. Иначе говоря, на смену прежней политики управления на местах посредством местных элит и личного инкорпорирования в центральное правительство предполагалось допустить групповое инкорпорирование с возможностью дальнейшего понижения планки представительства — по мере того как все новые социальные группы оказывались бы вовлечены в публичную политику.

«Катковский» проект, в отличие от «валуевского», делавшего ставку на высшую аристократию и буржуазию, был ориентирован на буржуазию и средние слои общества. Он предлагал формирование нации современного типа, взаимодействующей с традиционными имперскими группами через систему представительства, построенную на имущественном цензе.

«Славянофильская» же программа мыслилась как трансформация традиционного общества — со ставкой

на демократизм (в противовес элитарному катковскому либерализму), где центральная власть должна была взять на себя роль инициатора реформ, сохраняя свой неограниченный характер с широкими полномочиями низовых общин. Предполагалось конституирование нации через апелляцию к традиционным конфессиональным признакам, когда прежняя «внешняя» конфессиональность трансформируется в осознанную идентичность на основе современного типа религиозности.

В качестве своеобразного промежуточного варианта между «катковским» и «славянофильским» проектами выступало «почвенничество», делавшее ставку не на крестьянство и дворянство, а на средние слои общества с принятием в качестве основополагающего конфессионального критерия.

Напряженность ситуации и рост местных национализмов объясняют готовность центральной власти обсуждать и отчасти даже следовать подобным программам, что проявилось в политике в Северо-Западном крае в 1863–1868 гг. Однако по мере того как кризисная ситуация миновала и с проблемами удавалось справиться без привлечения общества, готовность императорской власти следовать национальной политике в любом из двух основных ее вариантов («катковском» и «славянофильском») уменьшалась — отдельные принятые меры так и оставались эпизодическими акциями, причем преобладали действия репрессивного плана. Помимо прочего, для позитивной национальной политики не хватало ресурсов и сознательной политической воли. Тем не менее нежелание императорской власти двигаться по пути националистической политики имело вполне глубокие рациональные основания. Как неоднократно отмечал Александр II, главным препятствием к дарованию какой

бы то ни было конституции было сомнение в возможности при конституционном правлении сохранить империю. Центральная власть прибегала к политике промедления, реагируя на сиюминутные проблемы и противодействуя в той или иной степени на протяжении первой половины 1860-х — начала 1870-х гг. как периферийным национализмам, так и различным вариантам русских национальных движений.

ЛЕКЦИЯ 7. STYLE RUSSE

...Государю напели, что славянофильские теории крайне вредны, в особенности опасно говорить о земском соборе. Государь действительно теперь верит, что славянофильство опасно!

Дневник генерала А. А. Киреева, декабрь 1890 г.

Царствование Александра III — время упущенных возможностей, вероятно, последний большой исторический шанс, предоставленный императорской России. Новое царствование начиналось в ситуации беспрецедентного кредита доверия со стороны общества — убийство 1 марта 1881 г. стало для большинства «чертой», отнявшей (поначалу казалось — навсегда) симпатии у радикалов. На государя покушались неоднократно — это стало своеобразной рутинной, и многие современники вспоминают, как последний год скупое реагировали не только на очередные покушения и убийства, но и не испытывали особенных чувств и изумления, узнавая из правительственных сообщений, что государю и на сей раз удалось избежать смерти.

К концу своего царствования Александр II подходил, утратив поддержку и практически перестав возбуждать надежды — на протяжении десятилетий он соблюдал политику «качелей», избегая всякой однозначности, не давая поставить себя под власть той или иной конкретной группы или направления. Характерна его министерская политика — в каждый конкретный момент среди министров должны были быть представлены разные группы, между ними постоянно поддерживалось напря-

жение — «либеральному» назначению сопутствовало непременно «консервативное», всякое преобладание должно было оставаться относительным — и, несмотря на сделавшиеся рутинными рассуждения о необходимости единого правительства, кабинета, назначении председателя правительства, император последовательно оставлял эту роль за собой. Страх «визиря» был вполне обоснован — в отсутствие публичных механизмов контроля за правительством взаимные противоречия, балансировка разных министерских сил давали государю свободу рук — он был над схваткой, и, чтобы оставаться в этом положении, ему надлежало ее поддерживать.

Такая политическая модель отражалась и в общем курсе царствования — выстраивающемся не как последовательное действие, а как «средняя» между весьма извилистым движением. Последний год (1880–1881) характеризовался сломом подобного сценария, назначением с неопределенно широкими полномочиями на пост директора распорядительной комиссии М. Т. Лорис-Меликова (1825–1888), сохранившего затем, при объявленной нормализации положения, пост министра внутренних дел и сформировавшего во многом некое подобие кабинета (по крайней мере, ему были предоставлены большие возможности по подбору кандидатур на высшие должности). Императорская власть в этот период напряженно пыталась найти опору в обществе, при этом не зная сама, насколько далеко готова зайти на этом пути — и одновременно пребывая в неопределенности, в каких пределах готова допустить общественную самостоятельность.

Кризис власти переживался столь глубоко в силу целого ряда обстоятельств:

— прежде всего, действительной растерянности власти перед лицом народовольческого террора —

с подобными угрозами власть ранее не только никогда не сталкивалась, но и не представляла в действительности, какую реальную силу представляет из себя противник;

— данная ситуация усугублялась тем, что в противостоянии народовольцам власть оказывалась действующей «в одиночку»: общественное мнение пребывало в ситуации «наблюдателя», между участниками противоборства — именно это положение вещей и привело весной 1880 г. к призыву общества к поддержке.

Если накануне убийства Александра II в публичном пространстве существовал практически единодушный консенсус, отвергавший консервативные настроения (так, независимо от содержания собственных взглядов, ведущие публицисты — такие, например, как Катков, воспринимали характеристику в качестве «консерваторов» как обвинение, перед лицом которого надлежит оправдываться), то 1 марта 1881 г. ситуация стремительно изменилась — до гибели Александра II положение вещей определялось как нестерпимое: все стороны сходились в том, что его необходимо изменить и далее так продолжаться не может — консерватизм как возврат к некоему «нормальному порядку» вещей был за пределами текущей политической повестки в силу того, что применительно к александровскому царствованию было непонятно, что именно можно определить как тот период, к которому необходимо возвращаться и «консервировать».

Проблема была заложена в сам уже к этому времени окончательно закрепившийся образ царствования — реформы, уже в ближайшие годы обозначенные как «Великие», стали главнейшей чертой этого времени, и здесь сам Александр II не составлял исключения. Так, в письме к своей многолетней любовнице кн. Екатерине Долгору-

кой, в 1880 г., после смерти императрицы Марии Александровны, сочетавшейся с императором морганатическим браком, Александр II в феврале 1874 г. убеждал ее не пытаться вмешиваться со своими советами в принятую им систему управления, поскольку «это система, которой я придерживаюсь уже 18 лет и с которой осуществил с Божьей помощью все великие реформы [выделено нами. — А. Т.], которые счастливо свидетельствуют, что система не дурна».

Гибель Александра II привела к кардинальному изменению ситуации. Если на данный момент историки все реже используют понятие «контрреформ», введенное в оборот современниками в рамках публицистической полемики против действий нового царствования и малоприменимого к действительной правительственной политике 1880-х — начала 1890-х гг., — то для характеристики общественных настроений и публичных жестов это понятие весьма показательно. Так, в 1886 г. было воспрещено публичное чествование 25-летия крестьянской реформы — высшее достижение в риторике предшествующих лет, она теперь в глазах правительства и, в еще большей степени, в риторике официозных изданий представляла достаточно неоднозначной. Еще бо́льшую полемику вызывали судебные учреждения, введенные по уставам 1864 г., положение дел в университетах, неблагонадежных в глазах властей как в отношении студенчества, так и настроений самой профессорской корпорации.

Не только практический, но едва ли не в первую очередь символический характер имело закрытие в 1883 г. целого ряда изданий — «Отечественных записок», редактируемых М. Е. Салтыковым-Щедриным (1826–1889) и Н. К. Михайловским (1842–1904), «Дела», унаследованного Н. В. Шелгуновым (1824–1891) после кончины

Г. Е. Благосветлова (1824–188), «Голоса» А. А. Краевского (1810–1889), редактируемого В. А. Бильбасовым (1838–1904), — примечательно, что издания эти были весьма разные по направленности и по читательской аудитории: народнические «Отечественные записки» были весьма далеки от радикального «Дела», во многом ориентированного на традиции, заложенные еще в «Русском слове» Писаревым (1840–1868), а либеральный «Голос» и вовсе начинался в 1863 г. как официоз тогдашнего Министерства внутренних дел, возглавляемого П. А. Валуевым (1815–1890), и во многом вернул этот статус во времена Лорис-Меликова, став (или, по крайней мере, почитаясь) наряду с «Вестником Европы» выражением новой правительственной политики.

Для общественной атмосферы второй половины 1880-х гг. характерно сильное ослабление политических интересов — новое народничество, выразителем которого стало «Русское богатство» и в дальнейшем во многом «Северный вестник», пропагандировало логику «малых дел» как способ полезной деятельности — в ситуации, когда всякий активный протест представлялся бесплодным и радикальные требования означали на практике лишь пустые слова, без всякой возможности применить их к делу. Характеризуя два десятилетия спустя сформировавшийся в эти годы особый общественный тип, популярный журналист и беллетрист А. Амфитеатров пробовал ввести по аналогии с «шестидесятниками» понятие «восьмидесятничества»: для отечественной публики одним из символов времени станет чеховская проза, трактуемая как отражение «безвременья», тоски по делу для людей без будущего, без своего места — проживающих день за днем, тех, о ком невозможна «большая форма», предполагающая раскрытие героя: в коротком рассказе он

умещается весь, поскольку детали, подробности «серых людей» не требуют прорисовки — штриха, одной реплики достаточно, чтобы читатель воссоздал по нему все остальное.

Первые годы правления Александра III прошли в совершенно иной атмосфере — она менялась быстро, но, как и было сказано, император взошел на трон в обстановке не только связанных с ним надежд, но и почти всеобщего сочувствия. Репрессивные меры, направленные против радикалов, встречали если не поддержку, то понимание — со своей стороны новая власть далеко не оформилась и была далека от определенности. Характерно, что организованная в первые недели после убийства Александра II Святая Дружина, попытка противопоставить тайной организации революционеров аналогичную тайную организацию, охраняющую престол всеми средствами, в том числе теми, к которым не может прибегнуть правительство*, была далека от чистого охранительства — по крайней мере для целого ряда из ее ведущих членов задача виделась в том, чтобы расколоть противоправительственные силы, изолировать радикалов — ориентируясь на компромисс с умеренной частью. Так, граф П. П. Шувалов (1847–1902), одна из ключевых фигур в деятельности Святой Дружины, в записке, поданной министру двора графу И. И. Воронцову-Дашкову (1837–1916), писал, что чрезвычайные

* Политическая логика довольно скоро возобладала — опасность образования альтернативной, неявной власти и самостоятельной иерархии, не связанной законом, стоящей наряду с правительством и действующей независимо от него, была хорошо осознана — в частности, против создавшегося положения вещей и о вытекающих из него угрозах горячо писал, обращаясь к императору, его наставник, с 1880 г. занимавший пост обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцев — в итоге Святая Дружина прекратила свое существование к началу 1883 г.

меры являются временными — ограниченными перспективой от полугода до года. Их целью является внести необходимое успокоение — но последнее лишь основа для долговременной политики, определяемой тем соображением, что «трудно предположить, чтобы Россия могла долго оставаться единственным исключением в семье европейских народов, и чтобы она не удостоилась от своего государя того доверия, которое он оказывает своим финляндским подданным или покровительствуемым им славянам», т. е. речь непосредственно шла о введении конституционного правления. В этом с П. П. Шуваловым был в целом единомышлен Б. Н. Чичерин (1828–1904), направивший в ближайшие дни после воцарения Александра III через своего бывшего университетского коллегу и, в это время, хорошего знакомого К. П. Победоносцева записку государю, отстаивая ту же логику — решительных, чрезвычайных мер, позволяющих поставить ситуацию под контроль, и движения в сторону общеимперского представительства, мыслившегося через развитие земских институций: в отличие от Шувалова, Чичерин полагал, что подобные реформы необходимы незамедлительно — сначала через введение совещательного представительства, но как шаг, демонстрирующий логику правительства и принятый им курс.

В более поздней оптике выбор нового правительственного курса связывался с заседанием Совета министров 8 марта 1881 г., на котором обсуждался вопрос об опубликовании подготовленного Лорис-Меликовым текста правительственного сообщения о созыве подготовительных комиссий для рассмотрения законопроектов и с изданием манифеста 29 апреля о незыблемости самодержавия. Действительно, данные события стали своеобразным «водоразделом», определившим первые

контуры нового правительственного курса, однако их значение в тот момент было существенно иным, чем они предстали и для самих их участников спустя несколько лет. Заседание 8 марта, определившее судьбу проекта Лорис-Меликова, происходило в ситуации, радикально изменившейся по сравнению с той, в которой проект был в целом одобрен Александром II перед его гибелью: вопрос стоял в том, следует ли в данный момент идти по пути уступок, пытаться найти компромисс — или же в первую очередь необходимо восстановить, утвердить сильную власть. Победоносцев, решительно протестовавший на идею издания правительственного сообщения о созыве членов подготовительных комиссий, предостерегал от угрозы «французских Генеральных штатов», подобно тому, как в серии статей в «Русском вестнике» в предшествующие месяцы его редактор Н. Любимов видел в подобных идеях аналог Собрания нотаблей 1787 г. Победоносцев, поддержанный воспитателем государя, гр. С. Г. Строгановым (1794–1882), утверждал:

«В такое ужасное время, государь, надо думать не об учреждении новой говорильни, в которой произносились бы новые растлевающие речи, а о деле. Нужно действовать»*.

Перед Победоносцевым стоял призрак конституции, против которого он увещевал наследника еще в декабре 1879 г., ссылаясь на мнение «здоровых русских лю-

* О том же за два дня до заседания Победоносцев писал Александру III в личном письме: «[...] мы люди божии и должны *действовать*. Судьбы России на земле — в руках вашего величества. Благослови боже вам сказать слово правды и воли, и вокруг вас соберется полк истинно русских людей вести борьбу на жизнь и на смерть за благо, за всю будущность России» (письмо от 6.III.1881).

дей», душа которых «объята страхом — боятся больше всего именно этого коренного зла, конституции. Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уже революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле; последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянною ложью, которой русская душа не принимает. [...] Важно то, что эта мысль глубоко засела *в народе*: по деревням и по уездным городам простые люди, обсуждая простым здравым смыслом и горячею душою нынешние события, говорят об этом, — там уже знают, что такое конституция, и опасаются этого больше всего на свете» (письмо от 14.XII.1879). Если заседание 8 марта привело к отказу от опубликования правительственного сообщения, то манифест 29 апреля, подготовленный императором совместно с Победоносцевым в тайне от большинства своих министров, против политики которых он был направлен, стал декларацией новой политики — за чем последовала отставка министров прежнего царствования, М. Т. Лорис-Меликова, А. А. Абазы (1821–1895) и Д. А. Милютина (1816–1912). Однако новые назначения были не менее характерны, чем отставки — на посту министра финансов Абазу сменил Н. Х. Бунге (1823–1895), известный профессор Университета Св. Владимира, неоднократно избиравшийся его ректором, а министром внутренних дел стал вместо Лорис-Меликова Н. П. Игнатьев (1832–1908), многолетний посол в Константинополе, имевший широкую популярность в националистических и патриотических кругах, сторонник активной политики на Востоке. Новые назначения в целом весьма затруднительно было бы охарактеризовать как «консервативные»: скорее речь шла о призыве в правительство новых лиц, не воспринимавшихся как часть «петербургской бюрократии»,

которой последовательно противопоставлял себя круг нового государя.

Земский собор, созыв которого обсуждался в 1881–1882 гг., должен был, с точки зрения представителей «славянофильского лагеря», дать возможность обществу консолидироваться перед лицом власти, а власти получить опору в лице общества*. Вряд ли продуктивно обсуждать, чем могла бы на практике обернуться подобная инициатива властей, но в 1882–1883 гг. выбор был сделан в пользу катковской программы. Для аксаковского видения национальной программы решающую роль имело общество — именно оно должно было стать активным субъектом, собственно ядром нации. При всей противоречивости суждений Аксакова его подход оставался принципиально либеральным — минимальное государство с развитием земщины; общество, осуществляющее свое давление на власть не путем конституционных гарантий, но через «власть мнения» — в лице Земского собора, свободной прессы и т. д.

Напротив, катковское видение нации предполагало последовательную реализацию «наполеоновской программы»**: правительство, действующее в режиме «популярной диктатуры», формирование национального единства как единства культурного, правового и экономического (активная русификаторская школьная поли-

* Отметим попутно, что славянофильские настроения были популярны среди земства вплоть до начала XX в.

** Политическое мировоззрение Каткова, хоть и ориентированное на Англию (его англоманство стало поводом для многочисленных анекдотов), было определено действиями Наполеона III, впрочем, ставшего для всей эпохи символом политической успешности, замешанной на циническом реализме (в последующем в культурном сознании эта фигура будет вытеснена образом Бисмарка: успех ученика и финальная неудача учителя определили вехи «исторической памяти»).

тика, формирование единого экономического пространства, «железные дороги», долженствующие сплотить «Великую Россию», как они создали единство «Прекрасной Франции»^{*}).

На практике, однако, она обернулась политикой агрессивной русификации, скорее стимулируя местные национализмы, чем достигая поставленных целей: русифицировать и формировать русскую нацию взял на себя государственный аппарат. Обществу отводилась одна функция — одобрять и поддерживать; даже те общественные группы, что придерживались консервативных и националистических позиций, оказывались неудобны — власть полагала, что она нуждается в исполнителях, а не в союзниках. История консервативной прессы весьма характерна в этом отношении: «Московские ведомости» после смерти Каткова быстро превратились в глухой официоз; «Русское дело», которое затеял издавать Шарапов (1855–1911) после прекращения со смертью Аксакова «Руси», претерпело череду цензурных мытарств; «Современные известия», также удостоенные цензурного чистилища, закрылись со смертью Гилярова-Платонова (1824–1887); относительную свободу суждений (впрочем, весьма сомнительной ценности) консервативного толка мог себе позволить только «Гражданин», опирающийся на личные связи князя Мещерского с государем. «Русское обозрение», которое князь Цертелев (1852–1911) пытался обратить в широ-

^{*} Отсюда же, кстати, вытекала последовательная ассимиляторская позиция Каткова по «еврейскому вопросу»: он настаивал на гражданском равноправии, расходясь в этом с большей частью коллег по консервативному и националистическому лагерю, для которых антисемитизм (быстро трансформирующийся из религиозного в расовый) был характерен наряду с антикапиталистическими настроениями (Катков был чужд и последним).

кую площадку для высказывания правых идей, выродилось в очередной официоз, избегающий любых «рискованных идей», после вынужденного ухода редактора, которого сменил А. А. Александров (1861–1930), «правильными» взглядами искупавший денежную нечистоплотность. Характеризуя настроения в Петербурге к осени 1884 г., Н. Н. Страхов (1828–1896) писал Л. Н. Толстому (1.XI.1884): «Начальство успокоилось и развеселилось, чувствуя себя очень крепко на своих местах. Чувствуется всеобщая духота и ни единой струйки свежего воздуха».

* * *

Говоря об идеологии царствования Александра III и первых лет правления Николая II, необходимо остановиться на фигуре К. П. Победоносцева (1827–1907), чье значение сложно переоценить с точки зрения выработки публичного языка этого времени — и чья фигура в глазах общества стала символической. Воззрения Победоносцева нередко определяли как близкие к «славянофильским», «народнические» или «почвеннические», как «националистические» и т. д. Для каждой из этих характеристик есть свои резонные основания — так, Константин Петрович не только был близок к славянофильскому кругу, в первую очередь к И. С. Аксакову (окончившему Училище правоведения двумя годами ранее и, как и Победоносцев и вместе со многими другими воспитанниками Училища, сохранивший на всю жизнь верность братству «правоведов») и к Н. П. Гилярову-Платонову, но и разделял многие из славянофильских представлений, равно как славянофилам он казался, по крайней мере до назначения обер-прокурором, человеком, сходным с ними образом понимающим церковь.

Так, Аксаков писал сестре Софье по получении известия об отставке гр. Д. А. Толстого и назначении Победоносцева на должность обер-прокурора Св. Синода:

«Это последнее назначение наилучшее, потому что Победоносцев глубоко-верующий и церковный человек, Командиром Церкви не будет» (письмо от 21 апреля 1880 г.).

Свидетельства о близости Победоносцева и Достоевского хорошо известны, напомним лишь знаменитый фрагмент из письма Победоносцева наследнику престола, написанного в день похорон Достоевского:

«Мне очень чувствительна потеря его: у меня для него был отведен тихий час, в субботу, после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говаривали долго и много за полночь».

Националистский характер воззрений Победоносцева не составляет сам по себе предмета полемики. Однако неточность всех этих характеристик была очевидна и их авторам, закономерно сопровождавшими их обычно оговорками и ограничениями, — так, в отличие от славянофилов, Победоносцев никогда не утверждал в качестве существенного положения убеждение в «мессианском предназначении» России и/или православия, его рассуждения о России было повернуты «вовнутрь», не предполагая (но и не отрицая) веры в ее вселенское призвание, — он отстаивал местное своеобразие как самоценность, причем для самих обитателей страны*.

* В славянофильстве И. С. Аксакова Победоносцев видел, собственно, либерализм — только в отличие от того политического течения, которое обыкновенно называлось этим именем в России, использующим националистическую риторику. Так, в 1881 г. он писал

В этом отношении его позиция сходилась со столь чтимыми им основоположниками германской «исторической школы» и с Монтескье, неоднократно им упоминаемым (и с «Духом законов» которого он, в качестве высшей оценки, вровень ставит «Основную конституцию человеческого рода» Ле-Пле): установления и обыкновения не имеет смысла оценивать абстрактно, как хорошие или дурные сами по себе, — то, что в одном месте и в одно время оказывается совершенным, перенесенное в иные обстоятельства, окажется непригодным. Посему «местные установления» и «местные обыкновения» оказываются ценными уже по одной той причине и заслуживают бережного отношения, что они — хорошо или плохо — удовлетворяют существующие здесь и сейчас потребности, они приноровлены к местным нравам и даже их недостатков, вполне очевидных, следует избегать решительно касаться — поскольку к ним также успела приноровиться местная жизнь, они тоже стали частью целого, которое без них, вполне возможно, будет функционировать хуже, чем с ними, поскольку нельзя заведомо учесть, со сколь многими другими, вполне положительно оцениваемыми, элементами и формами местной жизни оно оказалось взаимосвязано. В первую очередь он был консерватором — редким

Е. Ф. Тютчевой: «Разве не противоречие исходить из русского чувства народного — и проповедовать либеральные начала, выразившиеся в формуле западного просвещения, например свободу печати» — и в другом письме к тому же адресату задавался вопросом в ответ на критику со стороны Аксакова либерализма: «А сам-то он кто, как не либерал по тому же западному типу, которого в своем либерализме не узнает, потому что одел его по своей фантазии в русское платье из лоскутов». В дальнейшем, уже после смерти Аксакова, подобный упрек будет Победоносцевым в «Московском сборнике» публично адресован славянофилам как защитникам свободы печати: «ходячего положения новейшего либерализма».

в русской интеллектуальной жизни персонажем, поскольку в большинстве случаев «русский консерватизм» предполагал иной, чем «либеральный» или «радикальный», но план реформирования государства и общества.

Мировоззрение Победоносцева как в капле отлилось в письме к Александру III в ответ на прошение г-жи Жадовской дозволить ей повторное вступление в брак (поскольку при разводе она была объявлена виновной стороной и, соответственно, согласно ст. 253 Устава Духовных Консисторий, осуждена на безбрачие). Подробно обосновав недопустимость отклонения от существующих узаконений, Победоносцев далее предлагает выход — в виде высочайшего принятия просьбы «о прекращении дел о незаконности брака, уже *совершенного*»:

«Здесь нет *прямого* вмешательства в церковную юрисдикцию. Брак совершен священником, хотя и вопреки церковному запрещению; супруги живут вместе и прижили детей. Начинается дело о незаконности брака, большею частью по доносу. В таких случаях объявляется иногда высочайшее повеление: *приостановить* в консистории производство о незаконности брака. Таким образом брак остается фактически, как он был первоначально записан, то есть в виде законного.

Такие высочайшие повеления объявлялись неоднократно и от имени вашего величества, по моему докладу. Вот *единственное* возможное средство в подобных случаях. Пусть и г-жа Жадовская ищет, как ей угодно, помимо участия верховной власти, способа обвенчаться; затем может и не возникнуть вовсе вопрос о незаконности этого брака, а если возникнет, тогда уже может она обратиться к монаршему милосердию».

Аргументация, к которой прибегает Победоносцев, носит трехплановый характер — отстаивая свои воззрения перед публикой, он далеко не всегда стремится убедить в них оппонентов, более того, признает возможность добросовестно придерживаться тех или иных, весьма далеких от его собственных, взглядов. Критика популярных воззрений ведется им, во-первых, со скептических позиций — притязания знания всегда носят частный характер, то, что теперь считается научным, в дальнейшем, вполне вероятно, лишится этого статуса. Потому несоответствие тех или иных представлений ныне господствующим научным подходам, не говоря уже о воззрениях, распространенных в образованном обществе, само по себе не может быть безоговорочным критерием их неверности.

Однако Победоносцев отнюдь не считает, что его оппонентом является исключительно «неверие» — напротив, он обращает внимание на попытки создать иную веру, соответствующую времени, поскольку в старую веру больше нет возможности верить. Более того, он не считает, что подобное невозможно — его аргумент принципиально иного рода:

«Такая религия, какую воображает себе Милль, может быть, пожалуй, достаточна *для подобных ему мыслителей* [выделено нами. — А. Т.] [...]. В народе такая религия, если бы могла быть введена когда-либо, оказалась бы поворотом к язычеству. *Народ, который нельзя себе представить в отделении от природы* [выделено нами. — А. Т.], если бы мог позабыть веру отцов своих, снова олицетворил бы для себя как идею вселенную, разбив ее на отдельные силы, или то человечество, которое ставят ему в виде связующего духов-

ного начала, разбив его на представителей силы духовной, — и явились бы только вновь многие живые боги вместо единого Бога истинного...»

Вновь и вновь апеллирует Победоносцев к просветительской логике защиты «предрассудка» и «суеверия» — критика последних может быть адресована только тем, кто сам вполне «просвещен», способен выносить собственные суждения, и следовательно — не должна быть доступна массам, «народу»:

«[...] этого не хотят знать народные реформаторы [...]. Из-за обрядов и форм они забывают о сущности учреждения и готовы разбить его совсем, ничего в нем не видя, кроме грубости и обрядного суеверия. Сами они думают, что перешли через него, пережили его и могут без него обойтись, забывая о миллионах, которым оно доступно по мере быта и духовного развития их лишь в этой грубой обрядности».

Здесь уже можно заметить третью линию аргументации — Победоносцев не соглашается видеть в «суеверии» лишь «суеверие», но утверждает, что если даже и так, если встать на точку зрения оппонентов — каким образом сможет обойтись без него тот, кто не дорос до иного:

«Есть в человечестве натуральная, земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории — и сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможным. Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно необходима для благосостояния общества. Разрушить ее — значило бы лишь общество

той устойчивости, без которой негде найти и точку опоры для дальнейшего движения. В пренебрежении или забвении этой силы — вот в чем главный порок новейшего прогресса».

Дело не только в том, что «большинство» не доросло или не способно к «логическому мышлению» — независимо от этого «в большей части случаев невозможно довериться действию одной *способности логического мышления* в человеке» — если бы было иначе, то человек станет «*послушным рабом всякого рассуждения, на которое он не умеет в данную минуту ответить*»:

«Стоит только признать силлогизм высшим, безусловным мерилom истины, — и жизнь действительная попадает в рабство к отвлеченной формуле рассудочного мышления, ум со здравым смыслом должен будет покориться пустоте и глупости, владеющей орудием формулы, и искусство, испытанное жизнью, должно будет смолкнуть перед рассуждением первого попавшегося юноши, знакомого с азбукой формального рассуждения. Можно себе представить, что случилось бы с массой, если бы удалось, наконец, нашим реформаторам привить к массе веру в безусловное, руководительное значение логической формулы мышления. В массе исчезло бы то драгоценное свойство устойчивости, с помощью коего общество успевало до сих пор держаться на твердом основании».

Иначе говоря, теперь «масса» оказывается неустойчивой, нуждающейся в защите и попечении именно потому, что способна поверить в одну «способность логического мышления», принять на веру силлогизм как «безусловное мерило истины» — тогда как более разумный человек, действительно просвещенный, обретает

в самом разуме противоядие против чрезмерных притязаний от имени разума.

Весьма характерна в данном случае трактовка Победоносцевым «свободы церкви» и «свободы веры». Победоносцев, во-первых, соглашается с тем, что подлинная вера свободна — и никакой другой она быть не может. Однако из этого он не считает нужным сделать тот вывод, к которому призывают, например, славянофилы, говорящие о необходимости освобождения церкви от синодальной опеки или, например, о прекращении репрессивных действий в отношении раскольников. Согласно Победоносцеву это значит провозгласить принцип, не желая соотносить его с обстоятельствами. Объясняя свою позицию Е. Ф. Тютчевой, он говорил на исходе 1881 г.:

«Вы писали мне недавно о принуждении в делах веры, что душа ваша не принимает этого. Да чья же душа может это принять! [...] сколько бы мы не говорили о свободе и непринуждении в делах веры, слово это, в существе истинное, будет так же рассыпаться в соприкосновении с действительностью, как слово проповедников мира о беззаконии и греховности войны. Кто не согласится с этой истиной; но какой-то безумец-правитель решится, быв окружен жадными врагами-соседями, распустить у себя войско и расковать мечи на плуги? [...]

Какова наша церковь — это показывала нам история и покажет еще: церковь наша — одно с народом — не лучше его и не хуже. В этом ее великое качество. Но Государство обязано понять его и обязано защитить ее. От кого? от целой армии дисциплинированных врагов ее и наших — всяких вероисповедных пропагандистов, которые, пользуясь простотою народной, бездействием правительства, условиями пространства и бедной культуры, врываются, как волки, в наше стадо, не имеющее

достаточно пастырей. Стадо это — наша будущность; что сегодня не может быть в нем возделано, то будет возделано через десятки лет, но покуда — мы должны оберегать его от волков».

Впрочем, сам Победоносцев вполне воспринимал понятийное напряжение, существующее между утверждением «свободы церкви» и отстаиванием попечительной и ограничительной политики — в связи с чем в статье «Болезни нашего времени», наиболее пространной из включенных в «Московский сборник», он предпринимает попытку дать новое понимание «свободы». Последняя трактуется им теперь исключительно нейтрально — она «есть [...] лишь естественное условие причинной связи в действиях воли человеческой. В этом смысле она производит явления и действия самые противоположные — добрые или дурные, полезные или вредные и гибельные». Посему теперь требование «свободы» выступает как неопределенное — свобода не есть благо само по себе, а нечто, что в своем характере как благо или зла обусловлено иным. Так как не всякая свобода есть благо, то она подлежит ограничению извне — и источником этого ограничения является «авторитет». Если бы последний имел только внешний характер, то борьба эта «не имела бы исхода», однако «в душе человеческой» есть «внутренний судья», «совесть, средоточие и опора суда нравственного», которая «одна дает нашим действиям правую силу» — т. е. то, что способно признать требование авторитета как справедливое и сотворить из воли «силу свободную», т. е. господствующую «над побуждениями инстинкта». В целом предложенная им теоретическая рамка применительно к российской монархии включала пять элементов:

(1) самодержца — личное начало власти и одновременно персонифицированный принцип, стоящего над любыми группами, сословиями и классами, но при этом монарха «национального», «русского»: он должен был быть «Русским Государем», царем «народа»* (господствующего), по выражению «Московского сборника», в то же время соблюдая справедливость в отношении прочих**. Всякая власть стоит

* Готовя текст манифеста о коронации, Победоносцев извещал государя о внесенных поправках: «Еще одно примечание. В конце у меня поставлено: попечение о благе *народа*, а не *народов*, как сказано было в прежней и в печатной редакции. И в 1856 году это слово: *народов* — казалось странным. Замечали, что австрийский император может говорить о своих *народах*, а у нас *народ* один и власть единая».

** В том числе и по этой причине Победоносцев считал неприложимым парламентское представительство к российским условиям: «Мы видим теперь, что каждым отдельным племенем, принадлежащим к составу разноплеменного государства, овладевает страстное чувство нетерпимости к государственному учреждению, соединяющему его в общий строй с другими племенами, и желание иметь свое самостоятельное управление со своею, нередко мноюю, культурой. И это происходит не с теми только племенами, которые имели свою историю и, в прошедшем своем, отдельную политическую жизнь и культуру, но и с теми, которые никогда не жили особою политическою жизнью. Монархия неограниченная успевала устранять или примирять все подобные требования и порывы и не одною только силой, но и уравнием прав и отношений под одною властью. Но демократия не может с ними справиться, и инстинкты национализма служат для нее разъедающим элементом: каждое племя из своей местности высылает представителей — не государственной и народной идеи, но представителей племенных инстинктов, племенного раздражения, племенной ненависти и к господствующему племени, и к другим племенам, и к связующему все части государства учреждению. Какой нестройный вид получает в подобном составе народное представительство и парламентское правление — очевидным тому примером служит в наши дни австрийский парламент. Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия, при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар — всероссийского парламента! Да не будет».

верую, «доверие массы народа к правителям основано на вере, т. е. не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности, что правительство имеет веру и по вере действует», а в идеале самодержец сливает душу с народной. Так, перед коронацией Победоносцев писал Александру III: «Господь да хранит вас, всемилостивейший государь, в тишине уединения, пока народная душа готовится соединиться с вашею в великом акте венчания»; о самом акте: «Мы стояли и плакали, и вашему величеству послал господ радость великую, в которой поистине душа ваша сливалась с народною душою. [...] У всех теперь точно великая поэма народной жизни совершилась в душе, это великое и высокое чувство», а в поминальной речи утверждал для всего царствования: «душа народная слилась с его душой»*;

* Победоносцев не только избегал сам касаться сколько-нибудь подробно принципов самодержавной власти, но и убеждал придерживаться подобной позиции других. Так, И. С. Аксакову он писал 23 июля (4 августа) 1874 г.: «Это предмет ужасно трудный и ужасно соблазнительный: если б довелось мне толковать с тобою о твоём плане, я бы посоветовал бы тебе не трогать эту струну. Еще не явилось, по моему мнению, художника, который играл бы на ней без фальши, — так она трудна. Есть предметы, которые, — может быть, до некоторого времени, — поддаются только непосредственному сознанию и ощущению, но не поддаются строгому логическому анализу, не терпят искусственной конструкции. Всякая формула дает им ложный вид и — прибавлю — дает повод, с той или с другой стороны — к задним мыслям и недоразумениям... Пробовал, помнится, покойный брат Конст[антин] Серг[еевич] делать конструкцию этой идеи; пробовал как-то Катков в прежнем „Русском вестнике“, и все выходило тяжело, неловко, неистинно. Есть, подлинно, явления, которые лучше не возводить в конструкцию формулы. Мы чувствуем, напр[имер], прекрасный образ Юдифи, но кому, когда удавалось, не впадая в ложь или аффектацию, установить теорию политического убийства?» Аналогично высказывался он в письме к Л. А. Тихомирову от 23 апреля 1896 г., увещевая

- (2) «истинно русских», «живых русских людей» или хотя бы тех, в ком, как в графе Н. П. Игнатеве, «звенит серебро русского инстинкта» — способных слышать голос «простого народа», отзываться на запросы «жизни», сочувствовать «живому делу», тех, в ком образование и воспитание не истребило или не изменило до неузнаваемости «русской души»;
- (3) [интеллигенцию], тех, кто усвоил «отвлеченный идеал», утратил связь со своим народом, «заклучивших себя от всего мира в скорлупу отвлеченного мышления». Так, сугубо критически восприняв представленный Б. А. Чичериным после 1 марта 1881 г. проект созыва законосовещательного представительства, Победоносцев отзывался о своем многолетнем приятеле (с которым после этого наступил разрыв, продолжавшийся почти вплоть до кончины Чичерина в 1904 г.) в письме к С. А. Рачинскому: «Он честный человек, но голова у него просечена прямыми линиями... *В нем не бьется живая жилка духовной жизни народной* [выделено нами. — А. Т.]». Еще более характерно противопоставление на сей раз «чиновничества» и «здравых и простых людей» в письме к Александру III от 4 марта 1881 г. с описанием реакции на манифест от 29 апреля или утверждение из письма тому же корреспонденту от 10 июля 1881 г.: «все зло у нас шло сверху, от чиновничества, а не снизу»;

адресата: «Теперь [...] едва ли удобное время ставить на очередь тему о монархии. Теперь на эту тему целый кружок ревностных не по разуму консерваторов предается самым диким и невежественным фантазиям». Поскольку убедить Тихомирова и Грингмута не удалось, то уже 24 декабря 1896 г. обер-прокурор Св. Синода писал своему многолетнему другу С. А. Рачинскому, делясь печалью: «Вот, смотрите, какие глупости они пишут без малейшего такта и расчета».

- (4) «инородческий элемент», которому следовало «не уступать»* в том случае, когда не было возможности обрусить, путь к чему виделся в принятии православия, как ключевой составляющей «русскости»**;
- (5) «простой народ» — его свойство верно чувствовать, даже если ошибочно понимать. Так, например, «простой человек, приближаясь к» Александру III, «чувствовал свое душевное сродство с Русским Государем» — и это было одновременно свидетельство и действительной простоты приближающегося, и высоких достоинств государя. В письме, написанном два дня спустя после убийства Александра II, Победоносцев, например, усиливает свой голос, выступая перед лицом молодого государя как репрезентант «простых людей»: «не один я тревожусь: эту тревогу разделяют все простые русские люди», и следом добавляет: «сегодня было у меня несколько простых

* Большая часть вербальных примеров заимствована из речи К. П. Победоносцева «Государь император Александр Александрович», прочитанной на собрании ИРИО в присутствии Николая II. Об этом чтении сохранилась дневниковая запись А. А. Половцова от 6 апреля 1895 г.: «Победоносцев прочитал речь, в которой при весьма изящной внешней литературной форме изложил те свои политические идеалы нетерпимости, односторонности, насилия, эгоизма и непонимания высших человеческих стремлений, хвастаясь тем, что он и его единомышленники успели наполнить ими голову покойного Государя. Очевидно, то было назидание юному монарху идти по тому же грустному пути».

** Вполне типично для консервативной мысли, Победоносцев среди «инородческого элемента» выделял евреев, рассматривая их как своего рода агентов современности, — так, Ф. М. Достоевскому он писал: «А что Вы пишете о жидах, то совершенно справедливо. Они все запленили, все подточили, однако за них дух века сего. Они в корню революционно-социального движения и цареубийства, они владеют периодическою печатью, у них в руках денежный рынок, к ним попадает в денежное рабство масса народная, они управляют и началами нынешней науки, стремящейся стать вне христианства» (письмо от 19 августа 1879 г.).

людей», голосом этих «простых людей» может выступать, например, «извозчик», разговор с которым передает Победоносцев государю, поздравляя его с наступающим 1883 г. Впрочем, такое качество, как принадлежность к «простым людям», распространяется и на самого Победоносцева — теперь уже не передающего «их» слова, а прямо говорящего как один из них в особенно эмоциональные моменты, когда преграды, отделяющие одни сословия или классы от других, падают: «Веруем мы, простые русские люди, что он не оставит вас и с вами бедную, страдающую и верующую Россию!» — писал он императору 4 марта 1887 г., вскоре после неудавшейся попытки покушения на Александра III, предпринятой «Террористической фракцией „Народной воли“» во главе с П. Я. Шевыревым.

В этой схеме отчетливо заметно влияние славянофильских идей — об историческом разрыве между «Землей» и «Государством», об образованном обществе, утратившем связь со своим народом, и т. д. Вместе с тем есть и фундаментальное различие — если для славянофилов речь идет о том, чтобы преодолеть пропасть между «простым народом» и «образованным обществом», дабы мог возникнуть единый «народ» и «общество» как орган его самосознания, «Земля» как самостоятельная сила, то в логике Победоносцева подобная цель если не отрицается (Константин Петрович вообще не был склонен к радикальному отрицанию), то мыслится находящейся в далекой перспективе — более того, любые попытки двинуться в данном направлении сейчас воспринимаются им как опасные, безрассудные — надежда возлагается только на медленный, «органический» рост, который когда-нибудь приведет, возможно, к желаемому результату. В известном письме Александру III в ответ на став-

шую известной инициативу гр. Н. П. Игнатьева о созыве Земского собора одновременно с коронацией Победоносцев писал:

«По истинной правде и по долгу совести и присяги, по здравому смыслу, по любви к отечеству обязываюсь сказать, что считаю это дело безумным! Не диво, что Аксаков проповедует его на листах газеты: диво, что государственный человек вдруг решается пустить его в ход.

Если б я и веровал в земские соборы древней России, то остановился бы в недоумении перед такою мыслью. Древняя Русь имела цельный состав, в простоте понятий, обычаев и государственных потребностей, не путалась в заимствованных из чужой, иноземной жизни формах и учреждениях, не имела газет и журналов, не имела сложных вопросов и потребностей. А теперь нам предлагается из современной России, содержащей в себе вселенную двух частей света, скликать пестрое разношерстное собрание. Тут и Кавказ, и Сибирь, и Средняя Азия, и балтийские немцы, и Польша, и Финляндия! И этому-то смешению языков предполагается предложить вопрос о том, что делать в настоящую минуту. В моих мыслях — это верх государственной бессмыслицы. Да избавит нас господь от такого бедствия!»

Подобная установка была связана с общим восприятием хрупкости существующего порядка — отнюдь не только российского. Так, статью о «церковных делах в Германии», опубликованную в редактируемом Ф. М. Достоевским «Гражданине», Победоносцев закончил следующими словами:

«[...] человек нового мира составлен из тех же стихий, стоит, как и прежде, *на самом рубеже хаоса*, и не выходит из кризиса, в котором находилось человечество

постоянно, с первой минуты бытия своего. — Одна черта, одно мгновение, — и может открыться перед нами и около нас тот хаос, от которого отделяет нас тонкая, щегольская и обольстительная перегородка цивилизации».

В речи на совещании 8 марта 1881 г. (в передаче Е. А. Перетца) Победоносцев утверждал: «Бедный народ, предоставленный сам себе, стал несчастной жертвой целовальников, кулаков, жидов и всяких ростовщиков». Охранительная политика, отстаиваемая Победоносцевым, заключалась в попытках сохранить «тонкую [...] перегородку цивилизации», по возможности ничего не трогая — в надежде на «жизнь», «живые силы», которые сумеют найти выход, делая свои малые дела. Проблема, с которой столкнулся Победоносцев, заключалась, однако, в том, что в попытках не допустить перемен — приходилось постоянно что-то менять, политика, рассчитанная на «жизнь», на «естественный ход вещей», который мудрее любого плана, на то, чтобы искать «живых людей», а не менять учреждения* — не учитывала одного: изменившегося темпа событий. Будучи зорким наблюдателем, Победоносцев замечательно фиксировал перемены — например, хорошо понял изменившуюся роль общественного мнения, значение печати в его формировании — но ответ у него оставался неизменным, лишь с течением времени менялось представление о будущем, ожидания делались все более безнадежными. Так, согласно воспоминаниям Е. М. Феоктистова, Победоносцев утверждал:

* Например, 5 октября 1873 г., рассказывая цесаревичу о своих делах в Госсовете, Победоносцев писал: «впереди множество новых законов, но, право, приступаешь к ним со стесненным сердцем. Хочется верить в новых людей, а не в новые законы. Их уже столько накопилось, что люди с ними не справятся [выделено нами. — А. Т.]».

«Никакая страна в мире не в состоянии была избежать коренного переворота, что, вероятно, и нас ожидает подобная же участь и что революционный ураган очистит атмосферу».

Афоризм Победоносцева о «лихом человеке», бродящем или гуляющем «по ледяной пустыне», который вспоминают и З. Н. Гиппиус, и В. В. Розанов — не только диагноз, поставленный Победоносцевым русскому обществу в начале XX в., но и признание краха его конструкции. Ведь в предложенной им идеологической схеме было место только для «Русского Государя» и «простых людей», для всех, кто не укладывался в чаемую «простоту», была заготовлена только ячейка «болезни»: их надлежало «чистить [...] сверху»*, но болезнь дошла почти до самого «верха» — делясь своими впечатлениями от Петербурга, Победоносцев, например, писал цесаревичу 14 декабря 1879 г.: «От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных людей или исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция». Вся надежда оказывалась на цесаревича — и на «простой народ», который сам только верно чувствовал, но не действовал, в свою очередь возлагая всю надежду на Александра Александровича. Между «простым народом» и «Русским Государем» не допускалось никакое «средостение», и в то же время для Победоносцева была неприемлема никакая форма массовой мобилизации, активности «простого народа», выходящая за пределы частных, местных дел: но тем самым неизбежно единственным способом действия для «Русского Государя» оказывалось действие посред-

* Победоносцев К. П. Письма Победоносцева к Александру III. Т. I. С. 346, письмо от 10 июля 1881 г.

ством чиновничества. Надежда, которую Победоносцев испытывал в 1881 г., была на оздоравливающее действие и самого государя, и поставленных им достойных людей — способных каждый подобрать себе таких же и тем самым исцелить царство или, по крайней мере, не дать болезни распространяться дальше, используя предпочитаемые Победоносцевым органические метафоры. В своем позднем дневнике, уже после отставки с поста государственного секретаря, Половцов сохранил рассказ Победоносцева:

«[...] в тот день, когда в Комитете министров докладывалось представление Вита* о приобретении в казну железнодорожных линий Главного общества, он, Победоносцев, сказал Виту: „Я здесь так давно сижу, что был свидетелем и того, как Московскую дорогу правительство продало Главному обществу, и того, как объявлено было, что дороги будут строиться казной и принадлежать казне, и того, как вслед за тем частные общества стали строить дороги и покупать их от казны“. <...>

Стоявший возле государственный контролер Филиппов, имеющий обыкновение всегда говорить в смысле угодном сильному, поспешил, хотя и не спрошенный, отвечать: „В этом-то, Константин Петрович, и мудрость правительства, что оно следует линии, хотя и кривой, но изящной“.

Победоносцев: „Дай Бог, чтобы по пословице кривая вывезла“».

Известный американский исследователь русского консерватизма Р. Таден в свое время назвал воззрения Победоносцева «бюрократическим национализмом», в то время как первый академический биограф

* Так Половцов записывал фамилию С. Ю. Витте.

Победоносцева, Р. Бирнс, подчеркивал его стремление управлять «посредством людей, а не институтов». Действительно, характеристика Тадена вроде бы совершенно не подходит ни к оценке взглядов Победоносцева, ни к его практикам — обер-прокурор тратил невероятно много времени и сил на то, чтобы вырваться из пут канцелярии, на поездки по стране, встречи с самыми разными людьми, на внимание к вопросам, зачастую далеким от его собственного ведомства (что навлекало предсказуемое недовольство коллег). И тем не менее она оказывается верной — не применительно к заявленным целям и не по отношению к тому результату, к которому стремился Победоносцев, но по объективному результату: бюрократия оказывалась единственным приводным ремнем, имеющимся в распоряжении у системы.

Таким образом система политических представлений К. П. Победоносцева строилась на следующих ключевых положениях:

- (1) типичное для консерватизма противопоставление «органического», «естественного» — «искусственному» и «конкретного» — «абстрактному», где первый член дихотомии оценивался положительно;
- (2) в силу этого изменение принималось только тогда, когда оно либо вызревало «естественным» порядком, либо тогда, когда, будучи в свое время произвольно, уже вошло в общий «порядок вещей» — являясь само по себе искусственным вторжением, оно стало частью нового исторического порядка и противодействовать ему, в том числе ради восстановления «старины», значило бы вновь действовать искусственным образом;
- (3) всякий порядок вещей является конкретным — существующим в своем месте и времени, из чего сле-

дует, например, позитивное отношение к английскому конституционному опыту, по крайней мере до парламентской реформы 1867 г., или к либеральным установлениям в конкретных европейских странах. Критику вызывает иное — рассмотрение представительства как универсального идеала, кризис либеральных учреждений перед лицом демократии и т. п. В данном отношении показателен «Московский сборник»: критика западноевропейских порядков, для убедительности преимущественно ведущаяся словами ведущих европейских авторитетов (Т. Карлейля, Д. С. Милля, Г. Спенсера, М. Нордау), призвана продемонстрировать не столько их негодность, сколько неспособность служить в качестве идеала;

- (4) существующее заслуживает позитивной оценки уже на том основании, что оно существует — в отличие от противостоящего ему проектируемого изменения, которому только надлежит осуществиться, и практика осуществления неизбежно окажется отличной от нынешних представлений о нем;
- (5) изменения, следовательно, желательны только постепенные и ограниченные — «люди, а не учреждения»: конкретные люди создают новые практики или улучшают, модифицируют существующие, их опыт затем тиражируется, возникшие отношения институционализируются и т. д. В связи с этим Победоносцев с сопоставимой энергией выступал как против конкретных «либеральных реформ», так и против «контрреформ», одинаково видя и в тех, и в других насилие над «жизнью».

Две основные проблемы, с которыми сталкивался Победоносцев в приложении своих идей к практике, заключались, во-первых, в факторе времени и, во-вторых, в принципиальном конфликте с «образованным слоем».

Логика консервативных воззрений Победоносцева предполагала практически неограниченный временной ресурс для необходимых постепенных изменений, «органического роста» — вместе с тем быстрый и все возрастающий темп происходящих в стране и мире изменений приводил к тому, что перспектива начинала оцениваться преимущественно негативно — тем самым, вопреки утверждаемой на первом уровне логике «органических изменений», начинала преобладать логика приостановки, замедления перемен, расценивающихся как преимущественно негативные, из чего следовала необходимость принятия новых мер, призванных замедлить нежелательные изменения и поддержать должные тенденции. Победоносцев за четвертьвековое пребывание на посту обер-прокурора Св. Синода оказался весьма деятельным реформатором — начиная от введения церковно-приходских школ до мер по «обрусительной политике» в Остзейских губерниях, активному противодействию бурятскому буддизму, борьбе с расколом. Стремление избежать «искусственности» вызывало поддержку административных мер, осуществляемых за пределами законодательного регулирования, утверждало практику «усмотрения» и сохранения режима «особой охраны», т. е. стирания границы между чрезвычайным положением и нормой.

В констатации второй проблемы Победоносцев оказывался парадоксально близок к Чичерину, писавшему в 1878 г., что существует «возможность только двух путей: к демократическому цезаризму и к конституционному порядку» — в его конструкции пару «царю» составлял «простой народ», тогда как все промежуточное оказывалось заподозренным. Вместе с тем Победоносцев был принципиально далек от «демократического цезаризма» — его ответ на поставленную Чичериным дихо-

томию оказывался в том, чтобы максимально продлить время до ответа, в надежде, что за это время сам вопрос окажется неактуален.

Победоносцев на протяжении всей своей интеллектуальной биографии демонстрировал удивительное постоянство мысли в сочетании с интеллектуальной восприимчивостью — он был живым наблюдателем происходящих споров, сохраняя неизменность той оптики, сквозь которую воспринимал последние. Однако его воззрения могут служить замечательным примером «маскирующей» роли идеологии: на практике большинство из отстаиваемых им тезисов служили обоснованием и защитой тем установлениям и действиям, которые им прямо противоречили, — отстаивая обычное течение дел, «тишину», Победоносцев стал одним из столпов режима чрезвычайного положения, неизменно критикуя бюрократию и восславляя «простого человека», он последовательно отсекал большинство способов внешнего контроля за деятельностью бюрократической машины и т. д. Представляется, что его случай типичен для последовательного консерватизма не как орудия критики, но становящегося идеологией государственной власти, точнее, одним из инструментов, имеющих в ее арсенале, позволяющим обосновывать изменения через стремление сохранить неизменность и неизменность через стремление дать ход «органическим» переменам.

* * *

Победоносцев в высшей степени характерен тем, что использует большую часть ключевых славянофильских понятий — одновременно изменяя их содержание: его национализм выступает производным от консерватизма

и нацелен на сохранение существующей системы власти. «Народ» непосредственно соотносится с «царем» таким образом, что исключает любое политическое представительство, помимо самого «царя», критерием национальной идентичности выступает вероисповедный критерий, но православие заключается в подчинении церкви, в свою очередь встроенной в имперскую систему — на смену славянофильской логике приходской жизни как основе общественной и политической (само)организации приходит логика попечительства. «Национальное» в данном случае оказывается противоположностью исходного — исчезновением политической субъектности, быть «истинно русским человеком» значит быть верноподданным и свободным от любых притязаний на политическую самостоятельность.

Это движение смыслов поясняет примечательное изменение, претерпленное понятием «национализма» к началу 1890-х гг. А. И. Миллер отмечает, что «в 1880-е годы не только реакционеры и традиционалисты, но и либералы смещают внимание с нации на национализм. Ярче всего это видно в работах В. С. Соловьева, для которого в этот период данная тема была центральной. [...] „Родоначальниками нашего национализма“ Соловьев объявляет славянофилов, отрицая либеральные корни национализма и превращая таким образом национализм в консервативную идеологию. [...] Соловьев вовсе не пытается предъявить права на национализм, отстоять его либеральную генеалогию, но однозначно его осуждает, „отдает“ на откуп идейным и политическим оппонентам». Значение Вл. Соловьева (1853–1900) в истории понимания национализма в России трудно переоценить, поэтому следует внимательно проследить логику, которой руководствовался Соловьев, предпринимая данную интерпретацию указанных понятий — поскольку приданное им

значение оказалось весьма влиятельным не только для современников, но и во многом остается таковым до наших дней.

В истории отношения Вл. Соловьева к «национальному вопросу» и «национализму» наибольшую известность закономерно приобрели два эпизода: во-первых, выступление с проповедью «национального самоотречения» в 1884 г. и, во-вторых, полемика в 1888–1891 гг., начатая публикацией развернутого резко критического разбора Вл. Соловьевым «России и Европы» Н. Я. Данилевского. Следует отметить, что, в сущности, теоретическая позиция по поводу «национализма» у Соловьева в этих дебатах не менялась — менялась оценка фактического положения вещей, взгляд Соловьева на степень актуальной опасности, которую представляет собой «национализм». Эволюцию воззрений Соловьева в 1880–1890-х гг. удобно начать с «Трех речей в память Достоевского», в первых двух из которых, относящихся, соответственно, к 1881 и 1882 гг., сформулирована его трактовка национальной проблематики. Уже в первой речи прямо заявлена тема «национального самоотречения» — заканчивая свое поминальное слово о Достоевском, Соловьев говорит: «[...] народ во имя этой истины, в которую он верит, должен отречься и отрешиться ото всего в нем самом, что не согласуется с религиозною истиной», а чуть ранее, трактуя роман «Бесы» и образ Шатова, понимает последний как резкую «насмешку над теми людьми, которые поклоняются народу только за то, что он народ, и ценят православие как атрибут русской народности», поскольку «вселенская правда воплощается в Церкви. Окончательный идеал и цель не в народности, которая сама по себе есть только служебная сила, а в Церкви, которая есть высший предмет служения, требующий нравственного подвига не только от

личности, но и от целого народа». Во второй речи Соловьев особенно акцентирует мессианское понимание русского народа Достоевским, подчеркивая:

«[...] Достоевский, говоря о России, не мог иметь в виду национального обособления. Напротив, все значение русского народа он полагает в служении истинному христианству, в нем же нет ни эллина, ни иудея», а, следовательно, важнейшей чертой русского народа объявляется «сознание своей греховности, неспособность возводить свое несовершенство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига. Без этого нет истинной деятельности ни для отдельного лица, ни для целого народа».

«Истинная Церковь, которую проповедовал Достоевский, есть всечеловеческая», в которой все «племена и народы», «не теряя своего национального характера, а лишь освобождаясь от своего *национального эгоизма* [выделено нами. — А. Т.], могут и должны соединиться в одном общем деле всемирного возрождения». Тем самым особый статус русского народа вытекает, по Соловьеву в это время, из того, что он ближе всего к идеалу — свободе от «национального эгоизма», в силе сознания «своей греховности»: Достоевский в интерпретации Соловьева «считал Россию избранным народом Божиим» в том смысле, что она «избрана для свободного служения всем народам и для осуществления, в братском союзе с ними, истинного всечеловечества, или вселенской Церкви». Здесь пока еще нет сложившейся несколько лет спустя терминологии, по которой «национальный эгоизм» будет обозначен как «национализм», т. е. «ложный патриотизм», однако за этим исключением можно видеть в принципе ту же систему взглядов,

которую мы встречаем в работах Соловьева как 2-й половины 1880-х, так и 1890-х гг.

То, что претерпит изменение — не концептуальная рамка, а оценка фактического положения вещей. Для Соловьева конца 1870-х — начала 1880-х Россия и русский народ выступают как носители вселенского идеала (наиболее отчетливо это воззрение выскажется в статье 1877 г. «Три силы», написанной на волне патриотического оживления, вызванного Русско-турецкой войной 1877–1878 гг., и в заключительных историософских положениях «Чтений о богочеловечестве» 1880 г.), они выражают универсальное начало — являются его конкретным проявлением.

Как отмечал А. Кожев, анализируя воззрения Вл. Соловьева, «даже при чтении самых первых его публикаций складывается впечатление, что и в них мы имеем дело с той же самой метафизической системой, причем в той же степени ее совершенства»: «метафизика в творчестве Соловьева, взятом в своем единстве, есть не только центр тяжести, но и основной источник и непосредственная основа каждого из его произведений». Для Соловьева как «философа всеединства», опирающегося на «глубокие и живые интуиции», речь применительно к истории идет о богочеловеческом процессе, выходящим, разумеется, за пределы любой национальной или как-либо еще ограниченной истории — рамка его понимания принципиально и неизменно вселенская. То, что будет претерпевать изменение во времени — вопрос о месте и роли конкретных исторических феноменов в рамках этого целого. Соловьев во 2-й половине 1870-х — начале 1880-х оказывается максимально близок к славянофильству — но и при этой близости, тем не менее, между ним и славянофильством, как акцентировал Лосев, остается фундаментальное различие: для

славянофилов речь идет в первую очередь о России, русском народе — о его месте в мировой истории, поскольку в рамках романтического национализма национальное призвание есть обладание особым «началом», «идеей», которое данному народу надлежит внести в мировое целое. В обладании или лишенности этой «идеи» состоит различие между народами «историческими» и «неисторическими» — и здесь Соловьев будет целиком согласен со славянофилами, не в силу близости к их воззрениям, но через разделяемое с ними общее наследие в лице немецкой философии первых десятилетий XIX в., в первую очередь Шеллинга, но также и Гегеля. Однако — и в этом будет основной упрек, основное направление критики со стороны Соловьева — для славянофилов вопрос в том, как обосновать это особое место русского народа в мировой истории: их, если угодно, занимает последняя лишь в той мере, в которой она обосновывает призвание русского народа — последний здесь не имеет «служебного» характера, его «избранность», включенность в число народов исторических есть нечто презюмируемое — вопрос лишь в конкретизации этого избранничества.

В письме к отцу из Парижа от 16/28 мая 1876 г., после знаменитой поездки в Египет на свидание с «Софией», Соловьев пишет: «Больше уж путешествовать не буду, ни на восточные кладбища, ни в западный н[ужник] не поеду». Взгляды Соловьева в эти годы вполне близки к славянофильским по содержанию — Россия, русский народ выступают в качестве своего рода «универсальной империи» и «универсального народа», православие — вселенская истина. Однако различие со славянофилами не в конкретных воззрениях, а в интенции — Соловьев в первую очередь ищет вселенского, реализации его в конкретном: и это конкрет-

ное воплощение он находит в России. Но уже в первые годы 1880-х нарастает разлад между универсальностью виденья и стремлений Соловьева и их локализацией — для притязаний, подобных тем, что заявляются Соловьевым, для его надежд отечественные реалии чем далее, тем предстают все менее соответствующими: живущий напряженным ожиданием непосредственной реализации христианского содержания мировой истории, он лишь на краткое время оказывается готов вместить их в пределы восточного православия и Российской империи.

В этот период, 1881–1882 гг., Соловьев и существующие недуги русского православия интерпретирует вполне по-славянофильски. Так, патриарх Никон обвиняется им в 1881 г. в том, что хотя он и «не переходил в латинство, но основное заблуждение латинства было им безотчетно усвоено» и «со времени патриарха Никона и по его почину иерархия Русской церкви, оставаясь по вере и учению православною, усвоила в своей внешней деятельности стремления и приемы, обличающие чуждый, не евангельский не православный дух». В это время, вполне в согласии с А. С. Хомяковым, Ю. Ф. Самариным и И. С. Аксаковым, вина — причем не церкви, а церковной иерархии — видится в том, что последняя «уклонилась от своего *общественного* призвания, от того, чтобы проводить и осуществлять в обществе человеческом новую духовную жизнь, открывшуюся в христианстве». Подспудное движение идей тем не менее происходит весьма быстро — как отмечает, например, К. В. Мочульский, уже в статье «О расколе в русском народе и обществе» Соловьев начинает видеть причину раскола «в измене кафоличности церкви»: обе стороны, и староверы, и никонианцы, одинаково преданы «своему», только для одних оно отождествляется со своей стари-

ной, для вторых — с греками, но первые, предпочтя верность своей старине, в конце концов оказываются «протестантами местного предания». Уже в этих размышлениях о расколе Соловьев ясно различимы признаки близкого поворота — на передний план выходит вопрос о вселенском характере христианской истины и, соответственно, зреет вопрос, насколько восточное христианство можно добросовестно считать сохранившим эту вселенскость, насколько она верна ей в своей реальности. В это время Аксакову приходится защищать Соловьева перед лицом обер-прокурора Св. Синода, уверяя К. П. Победоносцева, что «Соловьев не полоумный. Он, напротив, непрестанно зреет и мыслью, и нравственной своей стороной [...]».

И действительно, в это время Соловьев оборачивается в новую сторону — на его интеллектуальном горизонте появляется проблематика империи, мировой монархии. В ноябре 1883 г. он пишет И. С. Аксакову:

«В [...] моей рукописи, которую я собирался послать Вам сегодня, место об Императоре было уже исключено, не потому чтоб я отказался от этой идеи, а потому, что, изложенная кратко и отрывочно, она действительно могла бы вызвать неверные и грубые представления. Но в существе этой идеи нет ничего грубого. Нужно помнить, что такой многообъемлющий принцип, как „всемирный Император“, „вселенский первосвященник“ и т. п., является прежде всего *как знамя* или как символ, а всякий символ, если его отделить от его идейного и жизненного содержания, есть нечто грубое и вещественное. Например, что может быть грубее креста: палка поперек палки! Впрочем, не думайте, что я усмотрел что-нибудь обидное для себя в Вашем замечании. Это невозможно уже потому, что идея всемирной монархии принадлежит не мне, а есть вековечное чаяние народов. Из людей мысли эта идея оду-

шевляла Данта, а в наш век за нее стоял Тютчев*, человек, как Вам хорошо известно, чрезвычайно тонкого ума и чувства. В полном издании „Всемирного спора“ я намереваюсь изложить идею всемирной монархии большей частью словами Данта и Тютчева».

Позиция Соловьева претерпевает быстрое изменение — если в оптике начала 1880-х православие выступает как (единственно) истинное христианство, а Россия, соответственно, имеет вселенское предназначение в силу «всечеловечности», то уже во «Великом споре...» (1883) мировая история, идущая через Восток (с его идеей бесчеловечного бога) и Запад (с его обожествленным человеком), находящая истину во Христе (Богочеловеке) и теперь уже в рамках христианства реализующая неполную истину (т. е. в своей односторонности — заблуждение) в западном и восточном христианстве — требует примирения во всеобщей, полной истине христианства вселенского. Но суть затруднения, вполне указанного кн. Е. Н. Трубецким в его анализе «Великого спора», в том, что если рассматривать недостатки восточного (православного) и западного (католического) христианства, то вторые не являются заблуждением по существу, т. е. не требуют исправления через внесение какого-либо иного принципа, извне — а для воссоединения церквей требуется исцеление от общего греха, не-

* И. С. Аксаков был женат на дочери Ф. И. Тютчева, Анне Федоровне, и был первым биографом поэта — идеи которого об Императоре и вселенской монархии изложил в книге о тесте (1874), передав большую часть незаконченной рукописи последнего «Европа и Россия». Сам Вл. Соловьев был очень близок с А. Ф. Аксаковой, в том числе и после кончины И. С. Аксакова: когда, уже вдовой, она поселилась в Сергиевом Посаде, неподалеку от Троице-Сергиевой лавры, где был похоронен ее муж, Соловьев гостил у нее и просил на ее адрес направлять письма.

достатка взаимной любви. Но тогда получается, что православию, восточному христианству нечем восполнить западное — оно не имеет преимущества «любви», а той истиной, которая необходима для Вселенской церкви, вполне обладает и западное христианство само по себе: ему необходимо обратиться к собственному достоянию, оно нуждается в изменении, но оно обладает этим внутри себя.

Тем самым, вопрос теперь ставится в иной плоскости — если восточному христианству нечего по существу, по сути привносить от себя, чем не обладало бы западное, то тогда в чем исторический смысл разделения церквей и в чем историческое предназначение России? Именно в этот момент мысль Соловьева достигает наибольшего приближения к мысли Чаадаева, причем приближения, вызванного одним и тем же интеллектуальным затруднением, побуждающим к сходному решению, а отнюдь не непосредственным влиянием: с французским изданием текстов Чаадаева, выпущенным в 1862 г. иезуитом кн. И. С. Гагариным, Соловьев познакомился, как он писал другому русскому члену ордена и близкому знакомому Гагарина, о. Мартынову в 1887 г., «лишь недавно». Если Россия не является единственной хранительницей истинного христианства и если она не является местом, где в наибольшей степени реализован идеал христианской жизни — то сама ее «физическая» мощь, пространство оборачиваются вопросом об историческом предназначении. В первоначальной форме ответ уже наличествует у Соловьева к концу 1883 г., как видно из процитированного ранее письма к И. С. Аксакову, однако в законченном виде будет выражен в двух французских текстах: «Русской идее» (1888) и «России и Вселенской Церкви» (1889):

«[...] Вселенская Церковь [...] раскрывается как тройственный богочеловеческий союз» (Соловьев, 1911а: 11): (1) союз священства, (2) союз царства и (3) союз пророчества — что выражается в фигурах Папы, Императора и Пророка. Современная ситуация описывается Соловьевым через констатацию двух «в равной мере очевидных фактов: 1) существует всеобщее сознание человеческой солидарности и потребность в интернациональном единстве, в *рах christiana* или, если угодно, *humana*; 2) этого единства налицо в данное время нет». «Идея, или, вернее, инстинкт интернациональной солидарности, всегда пребывал в историческом человечестве, выражаясь то в стремлении к всемирной монархии — стремлении, приведшем к идее и факту римского мира (*рах romana*)», то в учении, «утверждающим единство природы и общность происхождения всего человеческого рода» и дополненного в христианстве учением о «духовном общении всех людей» — эта идея «была осуществлена — правда, весьма несовершенно — в христианском средневековье».

Для Империи (*рах christiana*) нужен Папа — он есть; Император — им надлежит стать русскому царю, не случайно принявшему титул императора (во втором из двух уже совершенных великих исторических самоотречений русского народа — в лице Владимира Святого, отрекшегося от язычества, ради христианской истины, и в лице Петра Великого, от «языческого обособления»*) и Пророк — его имени Соловьев не называет, но нетрудно догадаться, кого именно он подразумевает.

* Русский народ, пишет Вл. Соловьев в 1889 г., «избрал для своего объединения не религиозную, а политическую форму единства, определил себя не как церковь, а как государство. Кто слышал в нашем народе о русской церкви (в смысле социального тела), о патриархе и т. п.? А что такое русское царство и царь — это всякий понимает».

По существу в этой конструкции применительно к России мало что меняется — как и в первой речи в память Достоевского (1881), от русского народа требуется «отречение», но с 1884 г. это звучит уже в жесткой формулировке требования «национального самоотречения» — и здесь на передний план выходит необходимость размежевания со славянофильством и его наследниками, ведь ранее мысль двигалась во вполне приемлемых для славянофильской доктрины рамках — покаяние необходимо именно ради высокого призвания, чем выше национальный идеал, тем строже требования к действительности. Однако теперь исчезает славянофильское согласие между национальным и вселенским идеалом — проповедь «быть сами собой», ведомая Н. Н. Страховым, теперь квалифицируется как «китайский принцип для народа исторического», как тождественное по сути утверждению: «Мы и так хороши».

«Национализм» теперь — не один из грехов, а важнейший, тот, что прямо противостоит реализации теократического идеала, не позволяет России стать Империей — и борьба с ним оказывается для Соловьева на первом месте: теперь славянофилы и славянофильствующие не единомышленники, а первые враги, тогда как либералы из «Вестника Европы», не только не разделяющие, но и не понимающие религиозных идей Соловьева, тем не менее — союзники, поскольку, пусть и не ведая того, мостят дорогу Вселенской Церкви, утверждая универсалистское видение. Как отметит Н. Н. Страхов по поводу разбора Соловьевым книги Данилевского, ставшего началом публичного спора о национализме, «[...] вообще статья г. Соловьева должна, несомненно послужить поддержкой того мнения о славянофилах, которое в большом ходу в публике и не раз излагалось на страницах „Вестника Европы“, а именно,

что славянофилы — самодовольные, хвастливые патриоты, что они противники прогресса, свободы и европейского просвещения, приверженцы „исключительного национализма“, отвергают „лучшие заветы“ современной науки, поклонники китайщины и застоя. Нельзя сказать, чтобы все это доказывалось в статье г. Соловьева, но именно в эту сторону клонятся его возражения против Данилевского, и он хорошо знал, что в таком смысле он будет понят многими усердными почитателями „Вестника Европы“. Таким образом, *при том положении дел, которое господствует в нашей литературе, мы думаем, что статья его уже не просто статья, а некоторый поступок* [выделено нами. — А. Т.]».

Еще в октябре 1883 г. в письме к И. С. Аксакову Соловьев формулировал тезис, который публично будет заявлен в следующем году и вызовет яростную отповедь со стороны адресата: «Братское отношение к западной церкви противно нашим естественным интересам и нашему самонению, но *именно поэтому* [выделено нами. — А. Т.] оно для нас нравственно обязательно» (письмо от октября 1883). В этом небольшом фрагменте сказывается почти случайно оброненным оборотом специфика этического мировоззрения Соловьева — для него этика предстает не как этика долга, но как самоотречения — т. е. в логике Христовой жертвы: исполнение лишь должного, сохранение своего интереса хотя и не может быть поставлено в вину, но не есть то, чего требует христианство — любви по отношению к другому, самопожертвования — и это распространяется в том числе и на социальные отношения, поскольку между индивидуальной и социальной этикой Соловьев не проводит грани, а лишь вынужден принимать большую трудность распространения тех же принципов, что обязательны между людьми, на отношения между группами

людей. В этой логике народ призван к самопожертвованию и самоотречению — но при этом речь идет именно о христианском народе: в той мере, в какой это сообщество проникнуто христианством, оно должно действовать в логике «сверхдолжного», если же это требование отвергается, то следует понимать, что вместе с этим отвергается и христианство народа (как в логике К. Леонтьева — для которого взаимодействие народов происходит в логике естественной, животного царства, тогда как христианство обращается именно к лицу, к конкретному человеку — в церкви, а не в миру: динарий надлежит отдать кесарю).

Накал публичных выступлений Соловьева против «национализма» и против славянофильства и славянофилов существенно понижается после 1891 г. — второй выпуск «Национального вопроса...» оказывается высшей точкой в этом споре, и в последующие годы, не меняя своей позиции по существу, Соловьев одновременно будет склонен подчеркивать заслуги славянофильства, защищать его от тех, кто будет воспроизводить суждения, близкие к его собственным предшествовавших лет.

Закономерно, что дискуссионным остается вопрос, каким именно годом можно датировать «разочарование» Соловьева в «теократической утопии» и произошло ли, собственно, это разочарование — поскольку и в весьма поздних, относимых ко времени уже после того, как он вроде бы оставил теократические ожидания, текстах Соловьева можно обнаружить суждения, предполагающие таковые. На наш взгляд, наиболее обоснованной выглядит позиция, разделяемая, в частности, А. Валицким — согласно которой Соловьев никогда до конца не расстался со своими мессианскими чаяниями — не поменялась по существу и его трактовка и оцен-

ка «национализма», однако борьба с ним явно отошла на второй план. В 1891–1892 гг. Соловьев переживает разочарование и в «русском обществе», и в «русской государственности», причем второе важнее первого — ведь именно государственное начало, Императора, должна была привести Россия в построение Вселенской Церкви:

«Сломана была, — пишет Валицкий, — по существу, [...] вера философа в осуществление всемирной теократической империи под скипетром русского царя. Это было равнозначно тому, чтобы отказаться от веры в провиденциальную миссию русского самодержавия [...]».

Голод 1891 г., имевший для многих в России большое значение в изменении их общественных представлений, стал рубежом и для Соловьева. Но если светская власть, второй меч будущего зримого *raх christiana*, оказался без носителя, если отодвинулись в неизвестное будущее сроки осуществления мечтаемого, то оказалось под вопросом и особое призвание России*.

* В «Краткой повести об Антихристе» есть остаточный, но радикально переосмысленный след представлений предшествующих лет: в ней Россия оказывается (1) прибежищем папского престола после того, как папы были вынуждены бежать из Рима — и последним папой, Петром II, становится архиепископ Могилевский — глава русских католиков; (2) православную церковь *de facto* возглавляет старец Иоанн, не только из России, но и тот, в ком одни видят ожившего Иоанна Богослова, а другие — старца Федора Кузьмича, т. е. императора Александра I. В итоге воссоединение Церкви происходит как воссоединение трех союзов: (1) священства — папа Петр II, (2) царства — император/старец Иоанн и (3) пророчества — профессор Паули, но воссоединение это происходит уже на грани «исторического времени», а тысячелетнее царство не предшествует Второму Пришествию, а последует ему.

Таким образом, в свете интересующего нас меняющегося отношения Вл. Соловьева к «национализму», можно выделить три периода:

- (1) «славянофильский», когда универсальное локализуется в русском;
- (2) «теократический», когда Российская империя понимается как основа будущей универсальной монархии, вселенского царства;
- (3) и «посттеократический», когда будущее вселенское царство поставлено под вопрос в исторической перспективе и, по крайней мере, его наступление не мыслится как событие непосредственно предстоящее — а следовательно, грех «национализма» хотя и остается грехом, но уже лишь «одним из», в ряду прочих, а не тем решающим, преодоление которого необходимо для воплощения Империи, пребывающей «на пороге».

В первый период «реальным объектом» ожиданий Соловьева выступает «русский народ» как «народ православный», во второй — применительно к России на смену «русскому народу» приходит Российская империя. Теперь уже русский народ — лишь один из народов, ее составляющих, вместе с польским и еврейским. Российская империя (а не русский народ) призвана реализовать имперское предназначение: «третий Рим» должен стать не только по имени «третьим», но и по существу, став не ненужным, пустым повторением «второго Рима», пришедшего к историческому финалу, а подлинным синтезом Рима первого и второго. Соединение церковей должно стать не юридическим объединением, не соединением в смысле сохранения каждой из них внутренне по существу такой же, какой она является сейчас, а соединением в «химическом» смысле, алхимической

свадьбой мировой истории — зримым воплощением на данный момент незримо наличествующей в поместных церквях Вселенской церкви.

Итоговую трактовку своего понимания «национализма» Вл. Соловьев дает в «Оправдании добра» (1897) — опыте построения целостной этической системы. Проблема национализма посвящена гл. XIV труда, которая начинается с характерного для Вл. Соловьева построения противоположностей: (1) национализма и (2) космополитизма — как отвлеченные начала, они оба оказываются ложными*. Однако степень их ложности явно неодинакова — если космополитизм видит в человечестве лишь индивидов, его составляющих, т. е. мыслит «тело Христова» как простейший организм, состоящий «из одних простых клеточек» (своего рода «тело без органов»), то национализм выступает «в виде проповеди страдательного разложения человечества на его единичные элементы», отрицание реальности человечества, что составляло основную нерв полемики 1888–1891 гг. против Данилевского и его защитников.

Из этого понимания вытекает, что «национализм», будучи последовательным, должен заключаться в стремлении к национальной изоляции — в силу чего весь параграф IV гл. XIV «Оправдания добра» составляют примеры как благих последствий межкультурных взаимодействий, так и дурных последствий обратного:

«Петр Великий и Пушкин, — провозглашает Соловьев, обращаясь к своему любимому примеру, — достаточ-

* «Легко заметить [...], что каждый из двух взглядов находит себе оправдание единственно только в отрицательной стороне взгляда противоположного».

но этих двух имен, чтобы признать, что наш национальный дух осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него».

Этическая система Соловьева строго иерархична — всякое конкретное благо, всякий конкретный нравственный принцип получает оправдание в высшем, т. е. выступает как служение ему. Вместе с тем речь идет исключительно о «народах исторических»: самоотречение, подчинение себя высшему — это единственный способ вхождения в историю в качестве субъекта, в противном случае народ оказывается либо объектом, народом не-историческим, либо слепым орудием, инструментом высшего («бичом Божиим»):

«История всех народов — древних и новых, — *имевших прямое влияние на судьбы человечества* [выделено нами. — А. Т.], говорит нам одно и то же. Все они в эпохи своего расцвета и величия полагали свое значение, утверждали свою народность не в ней самой, отвлеченно взятой, а в чем-то всеобщем, *сверхнародном*, во что они верили, чему служили и что осуществляли в своем творчестве — национальном по источнику и способам выражения, но вполне универсальном по содержанию или предметным результатам. Народы живут и действуют не во имя себя или своих материальных интересов, а во имя своей идеи, т. е. того, что для них важнее всего и *что нужно всему миру, чем они могут послужить ему*, — они живут не для себя только, а для всех. То, во что народ верит и что с верою делает, он непременно признает хорошим *безусловно*, хорошим не как свое, а само по себе, следовательно, для всех, и таковым оно обыкновенно оказывается».

«Народность» понимается Соловьевым как «внутренняя, неотделимая принадлежность [...] лица, то, что для него в высокой степени дорого и близко» — т. е. это естественная принадлежность лица, природное качество, которое на «той степени развития, какой достигло человечество [...] закрепляется его собственным актом самосознания и воли». Нравственным требованием является «люби все другие народы, как свой собственный», «мы должны любить все народности, как свою собственную», тогда как любовь к своей собственной народности выступает естественным состоянием: «[...] этически равная любовь к ближним (по евангельской заповеди), этически равная любви к самому себе, никогда не может быть с нею психологически одинаковою». Отмеченная «естественность» не является случайным указанием — она связана с утверждением, что народы есть «органы человечества», «самостоятельные собирательные существа», хотя этические принципы независимы от подобного утверждения, имея самостоятельное значение:

«Всечеловечество (или та церковь, которую проповедывал апостол [Павел]) не есть отвлеченное понятие, а согласная полнота всех положительных особенностей нового или возрожденного творения, — значит, не только личных, но и народных. Тело Христово как организм совершенный не может состоять из одних простых клеточек, а должно заключать и более сложные и крупные органы, каковые здесь естественно представляются различными народностями».

«Народы» и их качества («народность»), народный характер, мыслятся как связанные биологическим единством — от родоначальника данного народа — и одно-

временно совершенно свободны от сопряжения с политическим: в рамках подобной «органической» трактовки «народы»/«нации»/«народности», как обстоятельно поясняет Соловьев, существуют на протяжении истории, в которую они входят, но ею не создаются, в самых разнообразных политических формах — от «городов в Финикии, Греции, Италии» до «государств многонародных», «так называемых „всемирных монархий“», «грубых предварений всечеловеческого союза».

* * *

Из сказанного вытекает, что центр тяжести трактовки «национализма», даваемой Соловьевым, лежит за пределами подразделения на консерватизм/либерализм, хотя и оказывается в большей степени созвучен с либеральными воззрениями конца XIX столетия. Показательно, что против соловьевской трактовки «национализма» не возражал К. Н. Леонтьев, равно как — что более показательно — и по отношению к леонтьевской трактовке «национализма» Соловьев не высказывал возражений. Далеко не случайно «тема политического представительства не связывается уже у Соловьева с темой нации»: «нация», синонимичная «народу», «народности», оказывается естественным феноменом, тем, что нельзя утратить, подобно своей собственной природе — и тем, что проявляется в действиях лица независимо от его воли и желания. Если «нация» выступает как естественное явление, один из «органов» человечества, то «национализм», напротив, предстает как болезненное, идущее вопреки природе отделение, обособление от богочеловеческого организма — т. е. политическая логика Соловьева (развиваемая им наиболее явно в т. н. «теокра-

тический» период, однако более или менее присущая его мысли на всем протяжении его творчества) принципиально универсалистская, вселенская — имперская*. «Национализм» — та сила, что разрывает имперское целое: отсюда последовательно отрицательное отношение к национализму со стороны Соловьева как в период его славянофильских симпатий, так и во времена перехода в лагерь «Вестника Европы». Различие в оценках, что наблюдается на протяжении творческой эволюции Соловьева, не относится к «национализму» в том понимании последнего, как оно сформулировано в начале 1880-х гг. — динамика заключается в оценке православия: если вплоть до 1883 г. православие есть вселенская истина, тогда как все прочие христианские вероисповедания выступают разнообразными заблуждениями/уклонениями от истины, то уже с 1883 г. совершенно определено восточное христианство — в лучшем случае такой же осколок вселенской истины, как и западное**. Тем самым решительное осуждение «национализма» Вл. Соловьевым оказывается независимым от его либеральных воззрений — оно сочетается с последними, но исходит из совершенно иных, религиозных ос-

* Так, при всех своих симпатиях к польскому движению, при поддержке широкой автономии для Царства Польского, Соловьев ничуть не сочувствовал стремлению к национальной независимости в политическом плане, поскольку, по формулировке А. Валицкого, «нет смысла множить число отдельных государств».

** Причем, как справедливо отмечает кн. Е. Н. Трубецкой, если в риторическом плане Вл. Соловьев в 1883 г. пытается «уравновесить» позиции западного и восточного христианства, католичества и православия (в отличие от протестантизма, утратившего апостольское преемство), то по существу именно католичество предстает как истинное — поскольку его «грехи» являются эмпирическими недостатками, существо христианства хранится им в целостности, тогда как в православии уклонение от истины затронуло суть.

нований и их историософской и политической трактовки. Однако оно оказывается прямо связано с логикой имперской — здесь Соловьев продолжает, в силу не столько влияния, сколько общей системы представлений, Чаадаева — и тем более примечательно, что именно в аспекте трактовки «национализма» он оказывается столь влиятелен в русской мысли: либерализм оказывается во многом тяготеющим к имперской оптике, вместе с русскими радикальными движениями.

ЛЕКЦИЯ 8. РУСИФИКАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РУССКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ К НАЧАЛУ XX в.

«Нация» есть не физическое существо, а политическое. Нация есть одухотворенный народ, сознающий себя среди других народов независимым и державным. [...] Какая бы группа ни соединилась для защиты и бережения основных прав человека, она становится нацией.

М. О. Меньшиков. Вторая душа (1904)

Национальную политику 1881–1905 гг., несмотря на перемену фигуры царствующего государя, правомерно рассматривать как единую. Американский историк Е. Таден в 1960-е гг., характеризуя взгляды К. П. Победоносцева, обозначил их как «бюрократический национализм» — так, на наш взгляд, можно определить и правительственный курс этих лет в целом, если отвлечься от неизбежно присущих ему непоследовательностей и колебаний. Декларируемая «русскость» империи, персонификацией которой выступал государь, исключала из политического пространства всех, кто не являлся ее носителем, т. е. на практике делала режим включения/исключения произвольным — право на собственную автономию в данном случае исключалось, допускаясь в режиме «привилегии», «изъятия» из общего порядка, обусловленного согласием имперского центра, не имеющим контрактной основы. Вместе с тем сама «русскость» являлась характеристикой объекта управления, а не субъектной — т. е., схематично гово-

ря, предъявляла требования к подданному, не предполагая корреспондирующих прав с его стороны по отношению к власти.

Политика т. н. «русификации», как отмечают многочисленные исследователи, была далека от однозначности — в это понятие включаются весьма разнородные практики, зачастую прямо противостоящие друг другу и получавшие различную оценку со стороны современников с точки зрения понимания «русского национального проекта». Так, например, в рамки «русификации» нередко попадали кряшенские школы и выросшая из них целая система массового низового образования, созданная в 1860–1880-х гг. в Поволжье Н. И. Ильминским (1822–1891) — деятельность последнего была направлена на перевод основных православных священных и богослужебных текстов на местные языки и создание сети религиозных школ для народов Поволжья. Хотя вопрос о том, как именно понимал свою деятельность и конечные результаты сам Ильминский и его ближайшие сподвижники, остается дискуссионным, центральному правительству она преподносилась и в качестве таковой воспринималась, например, К. П. Победоносцевым, как носящая обрусительный характер — распространение православия среди местных жителей, которое было возможно на местных языках, мыслилось как важнейший шаг ко включению в русское национальное целое. Религиозный фактор понимался в качестве ключевого с точки зрения национальной идентичности — тогда как выбор языка выступал второстепенным: в этой оптике для Ильминского и Победоносцева мусульманская печать на русском языке выступала не желательным знаком сближения между собой разных сообществ, включения татар в русское культурное пространство, а опасным знаком мусульманской/пантюкистской экспансии. Например,

в 1885 г., отзываясь о кандидатурах на замещение должности муфтия в Уфе, Ильминский писал Победоносцеву:

«Нужно всячески избегать [...] прогрессистов и националистов» (21.IV); «[...] в случае крайности, фанатик без русского образования и языка сравнительно лучше, чем по-русски цивилизованный татарин, а еще хуже аристократ, а еще хуже человек университетского образования» (18.II).

О рекомендуемых им братьях Султановых в письме к тому же корреспонденту отзывался: «По-русски грамотны, отлично владеют русскою речью, но мусульманство в его арабских источниках, конечно, не изучали и только читают татарские книжки. [...] От каких-либо национальных нового пошиба идей они, кажется, совершенно далеки, и о фанатизме их не слышно» (21.IV). Напротив, высказываясь о негодности на должность муфтия Ибрагимова, Ильминский характеризовал его как слишком «блестящего», образованного: «Кратко сказать: не нашей простоте орудовать таким тонким инструментом. Для нас вот что подходяще было бы: чтобы в русском разговоре путался и краснел, писал бы по-русски с порядочным количеством ошибок, трусил бы не только губернатора, но и всякого столоначальника и т. п.» (28.IV).

Отзываясь в марте 1888 г. о мусульманах-землевладельцах в Уфе, Ильминский с тревогой отмечал, что они «имеют большой вес в дворянстве и обществе. Они соединили русскую светскую выправку и видимую либеральность со скрытою магометанскою ревностью, с татарской национальной твердостью и житейскою умелостью; а в настоящее время татарская, т. е. магометанская, внешне — обруселая интеллигенция начинает, кажется, воспитывать в себе национальные мотивы. Сколько можно видеть, магометане чиновные и по-русски обра-

зованные практикуют такого рода политику. По побуждениям религиозным, а иные, наиболее передовые и либеральные, — национальным, они внутренне солидарны с муллами и народом и составляют магометанскую массу при ее ортодоксальном суннитском догмате и обряде, со всеми гуриями и легендами. Но перед глазами русских те же самые интеллигентные татары надевают личину и показывают вид рационализма и любви к просвещению, даже прямо и настойчиво стараются доказать, что Коран и Магомет — в пользу разума и научного знания. [...] Подобными действиями интеллигентные магометане обвораживают русские начальства и отводят их глаза от действительного состояния фанатичной массы».

Напротив, развитие языков местных народов и перевод на них христианских текстов представляли важнейшим орудием русской культурной экспансии в регионе, противостоящей исламу. Формулируя свою позицию в письме к Победоносцеву, Ильминский в октябре 1888 г. утверждал: «Нужно помнить, что мы русские не умеем владеть теми орудиями культурными и сливающимися народности, которыми так успешно действуют западные народы — у нас эти орудия обращаются нам же во вред». То есть Ильминский фиксировал парадоксальный результат частичного включения местных элит в русское культурное пространство — вместо того чтобы, согласно расхожим ожиданиям, становиться проводниками русского культурного влияния среди соплеменников, они, пользуясь полученными ими новыми культурными средствами, являлись проводниками новых национальных идей. В результате, однако, основной путь, который рекомендовал сам Ильминский, заключался в искусственном торможении процесса, в попытке сохранить преж-

ние, становившиеся архаичными формы — или, как в случае с муфтием, предлагал вовсе ликвидировать подобную фигуру, которая в новых условиях консолидировала мусульманское сообщество в Российской империи и позволяла ему организовываться. Народные школы на местных языках должны были, напротив, выполнять двойную функцию: во-первых, распространения православия (не столько в логике обращения, сколько вторичной христианизации — призванной выдерживать конкуренцию со стороны аналогичных процессов в исламе), и, во-вторых, образования, не изымающего учеников из их социальной среды.

Во многом аналогичную роль призваны были сыграть церковно-приходские школы, система которых стала быстро расти в империи с 1884 г. — созданная под влиянием образца сельской школы С. А. Рачинского, церковно-приходская образовательная система была призвана давать начальное образование, оставляя учеников в их собственной социальной среде, т. е. как раз не являясь тем, чем в позднемодерных условиях является школьная система — не стать социальным лифтом: в церковно-приходской школе ученик должен был получать знания, необходимые и полезные для него, остающегося тем же крестьянином, но в меняющихся условиях, экономических и культурных — для торговых обменов он должен был усвоить счет и письмо, чтобы противостоять новым культурным воздействиям, должен был сознательно усвоить христианские верования (перейдя от групповой религиозной идентичности к индивидуальной, сохраняя принадлежность к православной церкви). Массовое образование оказалось достаточно результативным в плане распространения ключевых культурных и языковых навыков, например, языковой стандартиза-

ции, значимой в рамках быстрой и все ускоряющейся урбанизации.

Политика «русификации», если использовать данное понятие предельно общим образом (одновременно сохраняя в памяти его условность), имела несколько измерений — низовой, массовой культурной политики, политики, направленной на высшие общественные слои и аспект, направленный на политическую, административную и техническую унификацию империи. Подчеркнем особую значимость последнего — во многом он диктовал многие конкретные решения в рамках двух первых.

Раннемодерная аграрная империя выстраивалась по принципу вертикальных связей — она инкорпорировала местные элиты, сохраняя высокий уровень автономии местного управления. В условиях XIX в. разнородное социальное и культурное пространство требовалось все в большей степени унифицировать — например, единая транспортная система, возникающая по мере распространения железных дорог, требует единых стандартов — начиная с мер и весов, синхронизации времени — и вплоть до языка, который в данном случае оказывается тем же техническим средством. Разнородное пространство предшествующих веков довольствуется небольшим количеством единых норм управления, обеспечивающих работу центрального правительства и его наместников, — новая ситуация требует единообразного правового режима, в первую очередь в сфере гражданского права, т. е. ежедневных экономических обменов: до тех пор, пока большая часть обменов ограничена довольно небольшой территориально областью, в многообразии правовых режимов, действующих в каждой из этих областей, нет существенных затруднений — при увеличении как

пространственных границ, так и интенсивности этих обменов, при их анонимизации, связанной с распространением капиталистического хозяйствования, возникает все более настоятельная потребность в правовом единстве.

Как отмечал Драгоманов, отвечая своим оппонентам из украинофильского лагеря, «русификаторская» политика Российской империи отнюдь не была чем-то уникальным или связанным с произвольными решениями существующих властей — она являлась частным случаем процессов, аналогичным тем, что протекали во Франции или Германии: местная специфика скорее уж связывалась с неподготовленностью бюрократического аппарата, слабостью интеллектуальных ресурсов и т. п. — политика эта отличалась, писал Драгоманов во 2-й половине 1870-х гг., грубостью приемов, но видеть в ней нечто специфически российское не было никаких оснований, равно как и украинское национальное движение представляло типичной реакцией на происходящее. Понимать логику разворачивавшихся процессов, утверждал Драгоманов, важнее эмоциональной реакции — и вопрос об успешности «русификации» и способности эффективно противостоять ей со стороны украинских националистов — это вопрос о том, какая из сторон окажется способной предложить востребованные обществом инструменты модернизации, какая из модернизационных моделей окажется успешнее.

Переход к позднему модерну заключается, в числе прочего, в принципиальном изменении характера власти — из прежней власти над группами, сообществами формируется власть над индивидами. Прежние практики управления предполагают, что для государства конкретный индивид за исключением особых случаев неразличим — контрагентом во властных отношениях выступает

сообщество через своего представителя или представителей (село, посад и т. д.). Более того, в тех случаях, когда готовых контрагентов нет, центральная власть их создает — как, например, будущее центральное мусульманское управление с верховным муфтием в Оренбурге или буддийскую централизованную иерархию в Бурятии. Процесс модернизации ведет к тому, что на место этих практик приходят все более индивидуализированные: развивающееся государство ставит под свой контроль все больше ресурсов, которые позволяют ему создавать сеть рационального управления и контроля (бюрократию) со все меньшими «ячейками», постепенно продвигаясь от больших сообществ к меньшим и к конкретному индивиду — процесс завершится уже практически на нашей памяти со всеобщей паспортизацией населения: каждый из нас теперь состоит в непосредственных отношениях с государством, в отличие от предшествующих практик опосредованного правления.

Применительно к Российской империи данный процесс был далеко не завершен к началу XX в. — достаточно отметить, что, например, сохранение крестьянской общины в ходе крестьянской реформы 1861 г. было принято отнюдь не в силу теоретических соображений (здесь у сторонников общинного хозяйства отнюдь не было большинства, на уровне первоначального обсуждения реформы значительная часть разработчиков высказывалось за индивидуальные наделы, формирование класса крестьян-собственников как желательную перспективу и т. д.). Однако, когда подготовка реформы вступила в завершающую фазу и на первый план вышли вопросы технической реализации, то разработчики столкнулись не только с проблемой отсутствия земельного кадастра, но и с отсутствием достаточного числа специалистов по ме-

жеванию, для восполнения которого потребовались бы десятки лет (достаточно сказать, что кадастр не был создан и к концу империи): сохранение общины, внесенное ст. 161 Положения, стало необходимым — и на тот момент, как и сформулировано в Положении 1861 г., принятым как временная мера — компромиссом, вытекавшим из отсутствия достаточного числа технических специалистов и весьма разреженной местной властью (многочисленные функции местной администрации возлагались, например, с конца XVIII в. на дворянских выборных, выполнявших их в качестве «почетных», т. е. не связанных с издержками для государственного бюджета). Здесь можно отчетливо видеть то, что станет основной проблемой катковского проекта нациестроительства — ориентированный на французский образец, предполагающий активную, зачастую агрессивную правительственную политику в отношении подвластных, индивидуализирующий характер управления, он предполагает государственный аппарат гораздо более плотной сетью охватывающим свой объект и гораздо более эффективным и рациональным, чем тот, которым располагала на практике Российская империя.

* * *

Выделим основные проблемы, накопленные к 1905 г. Прежде всего — это застарелый *«польский вопрос»*, имевший несколько измерений. В данном случае необходимо разграничивать вопрос о положении дел в бывшем Царстве Польском, территория которого с 1870-х гг. полуофициально именовалась Привислянским краем, дабы исключить саму память о притязаниях на государственное существование, и положение дел в *«кресах»*, северо-

и юго-западных губерниях Российской империи, отошедших к ней по трем первым разделам Речи Посполитой (1773–1795).

Политика Российской империи в отношении Царства Польского после восстания 1863 г. на достаточно длительный срок оказалась успешной — благодаря проведенной крестьянской реформе удалось, во-первых, лишить польских националистов основной социальной базы в лице крестьянства — земельные магнаты, составлявшие основу т. н. партии «белых», лишились большей части своего влияния на крестьян, а для «красных» исчезла возможность национальной агитации на волне аграрных требований; во-вторых, польское национальное движение после 1863 г. утратило сначала веру в силовую поддержку со стороны великих европейских держав, в первую очередь Франции — 1863 г. показал, что вне исключительной, трудно прогнозируемой ситуации общеевропейского масштабного военного противостояния западные державы готовы максимум оказывать на Российскую империю дипломатическое давление и весьма ограниченную, преимущественно моральную, поддержку повстанцев — при этом после 1863 г. возможности повторения вооруженного восстания не представлялось. В дальнейшем польские националисты в пределах Российской империи утратили и этот ресурс: поражение II Империи во франко-прусской войне 1870 г. привело к тому, что Франция более не имела и таких возможностей вмешательства на стороне поляков, как то было до 1870 г., а последующие изменения в международных отношениях привели к тому, что теперь Польша была поделена между тремя империями (Российской, Австро-Венгерской и Германской), ни одна из которых не была склонна поощрять польское национальное движение в его стремлении к об-

разованию независимого польского государства*, а Франция, стремясь выйти из европейской изоляции после 1870 г., нуждалась в союзнике против Германской империи, чтобы избежать повторения военного столкновения «один на один» — в качестве такового могла выступать только Российская империя, в доброжелательном нейтралитете которой как минимум была остро заинтересована Французская республика: тем самым еще задолго до образования русско-французского союза Франция была поставлена в ситуацию, когда не могла позволить себе действий, могущих быть расцененными русской стороной как недружелюбные — понятно, что это исключало всякую государственную поддержку польского национального движения.

Польский национализм после 1863 г. оказался в патовой ситуации — те идеи, которые были для него ведущими на протяжении предшествующих десятилетий, оказались дискредитированы, в то время как в «русской Польше» не было значительных ресурсов для формирования альтернативной программы. В итоге на ближайшие два десятилетия польское национальное движение перестает быть существенной угрозой для империи — а когда с конца 1880-х начинается новый подъем польского национализма в пределах Российской империи, то он происходит в существенно изменившихся условиях. Прежде всего теперь его политические амбиции существенно ограничены — не отказываясь от идеальной

* В наименьшей степени это можно сказать об Австро-Венгрии, где полякам Галиции удалось стать практически третьей (после немцев и венгров) «правлящей» нацией империи, однако в то же время сама империя утратила значительную часть свободы в международных отношениях, став «младшим союзником» Германской империи.

цели восстановления/создания независимой Польши, он на практике нацелен на достижение компромисса в рамках существующей в Центральной и Восточной Европе имперской системы. Принципиально меняется его социальная база — теперь он ориентирован на массовую политику, что обуславливает его существенное «полевение».

Изменение характера польского национального движения в последние десятилетия XIX — начале XX в. тесно связано с имперской политикой в «кресах». После 1863 г. при всех колебаниях правительственного курса как в центре, так и на местах, он оставался в целом направленным на уменьшение польского культурного и экономического влияния — это способствовало ослаблению польского национального движения в кресах, во многом утрачивавшего возможность мобилизации масс, приобретавших иные идентичности. Вместе с тем политика Российской империи в отношении Польши имела ключевое препятствие в том, что империя владела лишь частью Польши — другие империи, Германская и Австро-Венгерская, в первую очередь последняя, проводили иные политики относительно поляков на своих территориях, с 1860-х гг. в особенности австрийская часть Польши, Галиция, стала центром польского национального движения, обретя возможность политической консолидации в рамках конституционного режима дуалистической империи. Тем самым более или менее активная имперская политика, направленная против польского национализма, приводила к тому, что последний все более ориентировался на внешних конкурентов империи: так, например, решение сделать Варшавский университет исключительно «русским» привело к тому, что польские интеллектуалы получали образование и проводили ис-

следования, например, в Краковском и Львовском университетах и связанных с ними центрах, жесткий контроль польской печати означал рост значимости галицийских изданий и т. п.

Отношение большей части русского образованного общества к польскому национализму претерпело за эти же годы существенную эволюцию — к 1880-м гг. Польша перестала восприниматься в общественном сознании как первостепенная угроза, образ, обусловленный общественным энтузиазмом 1863 г. В этом плане, если в 1860-х польский вопрос находился в фокусе русской общественной мысли, то в последующие годы он явно отошел на второй план.

Как отмечал уже в 1915 г. А. А. Корнилов в кратком очерке истории Царства Польского, после 1905–1907 гг. стала очевидной необходимость изменения политики по отношению к Польше, однако центральное правительство так и не выработало какого-либо нового определенного курса — в генерал-губернаторство Г. А. Скалона (в должности: 1905–1914) местная администрация продолжала придерживаться выработанных ранее норм, несколько умеряя их в своей практике, но подобная политика относительного «смягчения» была неспособна что-либо решить и кого-либо удовлетворить. Политические позиции основных польских направлений заключались в выборе, на какую из существующих великих держав ориентировать свою политику, какая из долгосрочных политических ставок является перспективной: польские социалисты во главе с Ю. Пилсудским (1867–1935) ориентировались на Германию, польские национал-демократы во главе с Р. Дмовским (1864–1939) полагали возможным и более эффективным достичь соглашения с Российской империей. Стоит отметить, что последняя позиция имела для того

времени свои существенные основания — прежде всего связанные с тем, что соглашение с Германской империей для польских националистов принципиально ограничено национальной политикой Германии, в первую очередь активной германизацией Великого герцогства Познанского (той части Речи Посполитой, которая в конце концов, по итогам Венского конгресса 1815 г., отошла к королевству Пруссия), в то время как реальная политика Российской империи фактически не представляла угрозы для сохранения польской национальности в пределах Царства Польского.

Программа Дмовского, его национализм, носили «этнический» характер — и, примечательным образом, именно это позволяло ему умерить националистические притязания границами «этнографической Польши», т. е. отказаться от рассмотрения «кресов» как неотъемлемой части будущей Польши — подобное видение давало Дмовскому и его сторонникам основания надеяться достигнуть компромисса с Российской империей. Напротив, для Пилсудского речь шла именно о реставрации Речи Посполитой как «союза народов»: будущая Польша в этой логике выступала проектом политического сообщества, связанного общими политическими принципами и общим историческим наследием, а отнюдь не «расовыми» критериями — для него, потомка виленских помещиков, возводивших свою родословную к боярам Гедимины, мыслить «Польшу» как сообщество «поляков по крови» было невозможно. На этом примере хорошо можно видеть сложности национализма и невозможность свести понятие «национализма» к какой-либо простой формулировке — и Дмовского, и Пилсудского, разумеется, можно назвать «польскими националистами», но национальные проекты, лежащие в основании их «на-

ционализмов», принципиально различны: следствия из их столкновения вполне раскроются уже в дальнейшем, во II Речи Посполитой (1918–1939), ставшей противоречивым сочетанием столь разнонаправленных стремлений, не имевшей возможности реализовать вполне ни один из них (слишком большой, если угодно, с точки зрения Дмовского, включившей в свой состав слишком многих «чужих», которых не было возможности эффективно ассимилировать, — и слишком небольшой, с точки зрения Пилсудского, чтобы стать свободной от политики «крови» и воплотить желаемую модель «братского союза народов», столь тесно переплетенных между собой, живущих на одних и тех же землях, чтобы можно было мечтать выстроить этнически однородное государство).

Проблемой иного рода был *украинский вопрос* — если в случае с польским национальным движением в общественном мнении существовал своего рода консенсус относительно необходимости «развода» и основное противоречие было по вопросу «разграничения» русского и польского национализмов, а имперская рамка выступала как общая политическая форма — иными словами, между польскими и русскими националистами существовал консенсус по поводу взаимoisключения друг друга из одного национально-политического пространства, то «большие русские» и украинские национальные проекты находились в радикальной конфронтации: продвижение одного из них автоматически означало урон другому. Политическое противостояние, нараставшее в русском обществе к началу XX в., позволяло временно снимать остроту проблемы — поскольку существующий политический режим выступал в качестве общего противника и достижение политических свобод являлось общей целью.

Остзейский вопрос стал приобретать все большую актуальность с 1860-х гг., что было связано с процессом становления национального Германского государства — соответственно, остзейские немцы оказались в плане политической лояльности под подозрением: если ранее объектом их лояльности было существующее имперское правительство и династия, то теперь, особенно с 1871 г., провозглашения Германской империи, возник мощный новый объект лояльности, актуализирующий национальное измерение. Политика Российской империи по остзейскому вопросу, характеризовавшаяся на протяжении 1870-х неопределенностью, существенно изменилась в 1880-х: был принят целый ряд мер по инкорпорированию местного законодательства в имперское, немецкий Дерптский университет преобразован в русский Юрьевский (с символическим переименованием города), осуществлялась масштабная политика русификации среднего образования, местного управления и т. д. — в противодействии остзейским немецким элитам имперское правительство с 1880-х гг. достаточно активно поддерживало местное ненемецкое большинство: эстонское, латышское и отчасти литовское (в Курляндской губернии) движения. При этом границы союза имперского центра с местными низами были, разумеется, структурно весьма ограничены — в результате имперская политика во многом играла роль катализатора местных национальных движений, в скором времени приобретших опасный для империи характер.

Централизаторская политика империи, при недостаточной гибкости и ограниченности набора инструментов, находившихся в ее распоряжении, испытывала существенные проблемы на окраинах, в первую очередь в Финляндии и Закавказье. В случае с Финляндией с 1880-х гг.

был поднят вопрос об ограничении автономии последней и инкорпорировании ее в общеимперские структуры управления — особенно обострившийся в самом начале XX в. Если в 1860-х в Финляндии существовало отчетливое противостояние традиционных шведских правящих элит и поднимающегося финляндского национализма, то имперская политика в итоге привела к консолидации этих разнонаправленных движений и формированию современного финского национализма, обеспечив последнему «общего врага», сплачивающего в противостоянии разнородные группы. Проблемы закавказской политики Российской империи демонстрируют отчасти структурное родство с финляндской политикой — а именно неопределенность в отношении имперской периферии, когда целый ряд мер предпринимаются в оптике имперской гомогенизации и включения «окраин» в однородное пространство, при этом, применительно к Закавказью, имеющихся ресурсов недостаточно для проведения столь амбициозной политики. В результате фактически сохраняется, с одной стороны, особый режим управления и особый правовой статус территорий, а с другой декларируемые цели и конкретные, разовые акции производят эффект, противоположный задуманному, консолидируя местные группы в их противостоянии центру.

Другой в высшей степени значимой проблемой для империи стал *еврейский вопрос* — отказ от ассимиляторской политики в начале 1880-х гг. парадоксальным образом накладывается на попытки активной ассимиляторской политики в других направлениях: комплекс этнокультурных и сословно-классовых противоречий, характерный для восточноевропейского региона, оказался «заморожен» в пределах черты оседлости — создавая

все более конфликтную ситуацию, последствия которой стали очевидны после 1905 г., а особенно в ходе структурной ломки, вызванной Мировой войной и последующими событиями войны гражданской.

Отметим, что структурно значительная часть проблем была однородна: формирование «большой русской нации», на которую была ориентирована имперская политика, порождало затруднения трех видов:

— во-первых, не столько активная, сколько риторически и символически агрессивная, зачастую проявляющаяся через систему ограничительных мер, а не преференций для тех субъектов, которые выбирали желательное с точки зрения властей поведение (негативное подкрепление), политика приводила к тому, что стимулировала протестный потенциал. Так, например, целый ряд мер, направленных против украинского национального движения и связанный в первую очередь с Эмским указом 1876 г., был способен в первую очередь стимулировать недовольство вполне лояльных в других отношениях подданных — символическим поражением стал запрет на публикацию музыкальных произведений, где текст воспроизводился бы вместе с нотами, аналогичным образом цензурное воспрещение на публикацию современных художественных произведений на украинском языке позволяло, однако, в диалогах приводить реплики персонажей по-украински, относя последнее к этнографическим деталям (аналогичным тому, как русские беллетристы стремились передать областные или сословные особенности речи своих персонажей). Тем самым *de facto* она производила нередко противоположный декларируемому эффект, мобилизуя местные национальные движения и обеспечивая их соответствующей социальной поддержкой;

— во-вторых, и это особенно важно, имперская политика оказалась недостаточно эффективной в плане создания системы социальных лифтов — предоставляющих возможность инкорпорирования в общеимперское в смысле общерусского пространства. Выходцы из нижних социальных слоев, двинувшиеся по ступеням образовательной системы, достаточно быстро наталкивались на структурные ограничители, делавшие невозможным или весьма затруднительным их дальнейшее продвижение. В результате они оказывались достаточно образованными, чтобы осознать свое положение, и имели достаточно оснований, чтобы испытывать недовольство своим положением, — т. е. составляли социальную базу для рекрутирования активистов национальных движений, предлагавших готовый и хорошо ложившийся на реалии язык описания и обозначение фигуры врага, виновника несправедливости;

— в-третьих, имперская национальная политика не сумела в конце XIX в. получить достаточную поддержку со стороны образованных слоев, в первую очередь «интеллигенции»: более того, целью проводимой политики было укрепление существующего авторитарного режима, свободного от потребности в поддержке со стороны общества, — вместо этого он должен был опираться на бюрократический аппарат и лояльное население, тогда как общество мыслилось как опасная и враждебная среда, с которой приходится взаимодействовать, но добросовестное соглашение возможно только на основе изменения последней*. Это не означает, что отечественная

* При этом с течением времени бюрократический аппарат сам начинал все чаще восприниматься как враждебная среда с точки зрения идеологов самодержавного правления. В весьма характерных идеологических построениях Победоносцева «царь» и «народ» одинаково противопоставлялись «обществу», «интеллиген-

интеллигенция была вне национальной политики, однако чаще всего она оказывалась идеологически гораздо более «имперской», чем официальная политика — подобное расхождение особенно отчетливо сказалось в конфликтах в эмигрантской и внутриимперской радикальной среде, например в оптике Драгоманова, отмечавшего, что русские радикалы, не отвергая принципиально национальные стремления других групп, в то же время мыслили в рамках последовательно общеимперской политики, ставя в центр социально-экономическую проблематику, а в дальнейшем хоть и обратившись к политической в собственном смысле слова, однако исключительно на уровне общегражданских прав и свобод. При этом подобное отношение было характерно, например, и для выход-

ции», «бюрократии» — оторванным от «жизни». «Народ» в первую очередь означал «простой народ», однако его частью мыслились и высокопоставленные члены правительственной иерархии, как, например, сам Победоносцев — подобное было, однако, личным качеством, тем, что сохранялось несмотря на и вопреки официальному включению в бюрократическую иерархию.

Если формулировать предельно кратко, то различие между царствованием Александра III и правлением Николая II заключалось в данном аспекте в том, что Александр III мыслил подобными «народными», лояльными подданными отдельных членов правительственного аппарата, не только даря им свое доверие, но и как обладающих подобными качествами назначая на ключевые посты в правительстве — они должны были преодолевать, исправлять издержки бюрократической системы. Характерными примерами такого рода служит карьера С. Ю. Витте (1849–1915) или, при всей несхожести персонажей, К. П. Победоносцева. Напротив, для Николая II характерно принципиальное недоверие ко всему правительственному аппарату в целом — отсюда связь «с народом» обеспечивается через сеть неформальных контактов, через связи с конкретными лицами, которым по тем или иным причинам непосредственно доверяет император, при этом не пытаясь включить их, в отличие от политики отца, в бюрократическую систему как внутренний по отношению к ней небюрократический фактор: системы официальных и неофициальных контактов старательно поддерживаются как параллельные.

цев из еврейской культурной среды, в подавляющем большинстве мысливших решение еврейского вопроса по пути ассимиляции (еврейский национализм в начале XX в. оказался достаточно маловажен в рамках российской национальной политики, поскольку значительная часть его активистов оказалась вовлечена в сионистское движение, т. е. во многом исключала себя из имперского контекста, мысля свою включенность исключительно тактической). В этом плане еврейское движение оказывалось скорее важным фактором, действующим в направлении укрепления «общерусской», «большой русской» идентичности — противостояние с имперским центром оказывалось связано, напротив, с неготовностью имперского правительства пойти на подобное расширенное понимание «русскости», какое предлагалось, например, с 1860-х гг. Михаилом Катковым. Вопрос о радикальном изменении имперской политики в еврейском вопросе поднимался в 1905 г. и в последующие годы — так, например, министр народного просвещения в кабинете С. Ю. Витте гр. И. И. Толстой (1858—1916) предлагал опереться на еврейскую массу, даровав ей равноправие, как потенциально на наиболее лояльных имперских подданных (в данном случае явно ориентируясь на австрийский опыт), однако на практике подобные предложения не выходили за пределы кабинетных дискуссий — реальный потенциал данного варианта имперской политики продемонстрирует ранний Советский Союз.

* * *

Революция 1905 г., следствием которой стало возникновение общеимперского представительного органа законодательной власти и, соответственно, публичной

политики — принципиально изменила и усложнила дебаты о национализме. В рамках данного краткого очерка у нас нет возможности подробно рассматривать те перемены, которые произошли в политической и интеллектуальной жизни империи за последнюю дюжину лет ее существования — эти сюжеты даже в конспективном изложении заслуживают отдельной работы, поскольку во многом определили те ситуации и противоречия, которые получают свое развитие уже после Мировой войны и революции 1917 г.

Однако на одном сюжете мы все-таки остановимся, поскольку он демонстрирует возможности, в существовании которых можно было бы усомниться на основании предыдущего изложения. Как уже отмечалось, к началу XX в. русский национализм оказался во многом в обладании сторонников консервативных и правых взглядов. Позиция правых, как крайних, так и умеренных, все в большей степени *расоизировалась* — биологические, физические характеристики национального, описание «наций» как природных объектов и понимание политического как надстройки над биологическим, национальное противостояние как «борьба племен», «племенных начал» и т. п., воспроизводящие общие места популярной антропологии конца XIX — начала XX в. и не противостоящие, следует отметить, научному языку этого времени, становившиеся все более заметными с 1870-х гг., выходят с начала XX в. на передний план. С 1880-х для русских правых все более характерным становится антисемитизм, сменяющий предшествующий, куда более маргинальный как характеристика политической национальной позиции, антииудаизм — к началу XX в. антисемитизм становится практически всеобщей позицией для всех оттенков правых взглядов в отечественном политическом

пространстве, а фигура «еврея» как главного врага, «чужого», пугающего своей амбивалентностью, способностью проникать в любую среду и быть трудноразличимым для внешнего взгляда, вытесняет доминировавшую в 1860-х фигуру «поляка» (и во многом сливающуюся с ней, восходящую к более ранним временам и наследуемую от западноевропейской полемики 1820-х гг. фигуру «иезуита»). Антисемитизм позволяет собрать воедино весьма разнородный комплекс представлений:

— во-первых, как уже говорилось, он позволял наследовать более раннему антииудаизму, переводя на новый, расовый, язык прежние вероисповедные разграничения и производные от них социокультурные дифференциации, тем самым позволяя транслировать их в секуляризованную среду;

— во-вторых, антисемитизм позволял соединять логически противостоящие позиции — антикапиталистические настроения с одновременной борьбой против социалистических тенденций — евреи здесь выступали и как представители мирового капитала, носители новых хозяйственных порядков, и в то же время как характерные для восточноевропейского пространства мелочные торговцы и скупщики, встроенные в этноконфессиональную систему разделения труда, привычно противостоящие и необходимые одинаково земледельцам и землевладельцам, и в то же время как участники радикальных движений — особенно заметные на общем фоне в силу своей инаковости и в то же время навлекающие на себя протест как «мешающиеся не в свои дела», что позволяло заподозривать их в преследовании своих собственных целей;

— в-третьих, еврейство вполне закономерно опознавалось как сообщество, принципиально выходящее за

имперские и любые национальные границы, — тем самым еврей рассматривался как не способный к полной, однозначной лояльности, т. е. как подозрительный субъект, в чьей верности нельзя быть уверенным.

Если в глазах как собственных образованных, ориентированных на европейские культурные стандарты, подданных, так и в глазах западного сообщества «погромы» стали символом, прежде всего, архаичности Российской империи — по меньшей мере неспособной достаточно эффективным образом поддерживать полицейский порядок на собственной территории и, что особенно важно, не рассматривавшей подобные столкновения как нечто, подлежащее однозначному осуждению и быстрому пресечению, — то для отечественных правых, в особенности для крайних, «погромы» оказались проявлением назревших конфликтов, где жертва и насильник заслуживают принципиально различного отношения, поскольку погромщик, совершающий противоправный поступок, тем не менее, недопустимым образом, но реагирует на вопиющую, нестерпимую несправедливость — не столь заметную, как его собственные действия, лишь в силу того, что она обыденна и рассрочена во времени.

Еврейский вопрос и государственный антисемитизм к последним предвоенным годам стали рассматриваться как один из возможных ресурсов поддержания существующего режима, обеспечения ему низовой поддержки — в данном плане показательным делом Бейлиса, продемонстрировавшее, помимо прочего, весьма сложное положение дел в правящих кругах Российской империи — для значительной части которых подобная политика выступала недопустимой в первую очередь с точки зрения связанной с нею опасности утраты монополии

на насилие*, в то время как для других активизация антисемитской повестки и в целом ставка на использование и управление ксенофобными настроениями виделась ценным ресурсом, который может и должен быть использован в борьбе за политическое преобладание в условиях, когда средств прежней, традиционной имперской внутренней политики оказывалось недостаточно и монархический режим испытывал затяжной и нарастающий кризис легитимности.

Итак, с одной стороны, правые разной степени радикализма в том или ином отношении оказались разделяющими и пытающимися воспользоваться расоизирующим языком, актуализировав его через выделение «иных» и «чужих», позволяющих протраивать национальную повестку на секуляризованных основаниях как защиту «своего» в смысле природной, естественной общности. Такого рода идейное движение, по большому счету, не представляет собой чего-либо особенно любопытного — гораздо более интересны попытки, обнаружившиеся среди сторонников либеральных идей, вернуть себе национальную повестку, несколькими десятилетиями ранее практически без сопротивления отданную правым.

Наиболее известное и значимое по интеллектуальным последствиям движение последнего рода — интеллекту-

* В той же логике находилось противодействие правительства, в первую очередь Министерства внутренних дел, крайне-правым партиям — фактически стараниями Министерства был обеспечен и поддержан раскол Союза русского народа, образование Союза Михаила Архангела и т. п.: массовое крайне-правое движение в условиях политической стабилизации 1907-го и последующего годов представлялось враждебным существующему порядку, как и радикальные левые партии, — в определенном смысле даже более опасным, поскольку, в отличие от последних, опиралось на существующие легитимные основания — выступало в защиту царской власти против существующих властей.

альная эволюция Петра Бернгардовича Струве (1870–1944), одного из первых русских «легальных марксистов», автора манифеста РСДРП (1898), ставшего одним из лидеров русского «освободительного движения», редактора эмигрантского журнала «Освобождение» (1902–1905), органа русских конституционалистов, вокруг которого сложилось ядро будущей конституционно-демократической партии (основана в 1905 г.), после 17 октября 1905 г. пришедшего к убеждению, что путь борьбы с существующим режимом закончен, поскольку возникли условия для нормальной политической деятельности в установленных манифестом и изданными в 1906 г. Основными законами рамках. Революция 1905 г. привела Струве к осознанию как ценности государственности, так и ее хрупкости в России — по его мнению, изложенному, например, в сборнике «Вехи» (1909), преимущественно объединившем близких к нему авторов, порок русской интеллигенции состоит в слабости национального начала. В том же году в статье «Интеллигенция и национальное лицо» Струве писал:

«[...] позвольте мне, убежденному стороннику „государственности“, восстать против обнаруживающейся [...] чрезмерности культа государственного начала. Позвольте мне сказать, что так же, как не следует заниматься „обрусением“ тех, кто не желает „русеть“, так же точно нам самим не следует себя „оброссиивать“. [...]»

Когда-то думали, что национальность есть раса, т. е. цвет кожи, ширина носа („носовой указатель“) и т. п. Но национальность есть нечто гораздо более несомненное и в то же время тонкое. Это духовные притяжения и отталкивания, и для того, чтобы осознать их, не нужно прибегать ни к антропометрическим приборам, ни к генеалогическим изысканиям. Они живут и трепещут в душе».

Если ослабить лирическую составляющую этих формулировок и воспользоваться пониманием нации, данным Струве в этапном для него сборнике «Patriotica» (1911), то нация есть политическая общность, выстраиваемая на базе общности культурной, — Российская империя является многонациональной общностью, однако русские выступают, по словам единомышленника и соратника Струве, известного публициста В. С. Голубева (1862–1910), как «государственная» или «державная национальность». Существующая имперская национальная политика определялась Струве как разрушительная — в 1910 г. он писал: «Торжествующий ныне официальный национализм прокладывает путь не национально-государственному объединению, а национальному автономизму и федерализму. Он не собирает, а дробит государство» — и в то же время, продолжал Голубев:

«Русская интеллигенция, пересматривая целый ряд вопросов, должна была остановиться и на таком вопросе, как вопрос о монополии на патриотизм и национализм только групп реакционных. Слишком легко отделаться от этой монополии пренебрежительным кивком в адрес реакционных групп. [...]

Мы полагаем, что только подняв русскую национальность, как державную, подняв ее внутреннее чувство, ее самосознание, ее настроение и дух, достигнем мы и того, что будут подняты в своей равноправности и другие национальности» (1909).

Если Струве, официально продолжая состоять в кадетской партии, настолько к этому времени сдвинулся «вправо», что его позиция уже мало соотносилась с настроениями самой значимой или, по крайней мере, наиболее идейной (в отличие от «октябристов», представ-

лявших из себя весьма неустойчивый конгломерат представителей различных воззрений и интересов) русской либеральной партии — то во многом родственные представления разделялись и остававшимися вполне последовательными сторонниками партийной программы. В сборнике «Интеллигенция в России» (1910), являющемся своеобразным коллективным ответом на «Вехи», Н. А. Гредескул (1865–1941) писал, объясняя и оправдывая создавшееся положение «духовным прошлым интеллигенции», тем, что ее положение определялось одной мыслью: «о *народе*, но не о народе как о нации, и тем менее как о нации, организованной в государство, а о народе — как о социальном члене *внутри* нации или *внутри* государства, о народе как подчиненной массе — в противоположность господствующим классам общества». Однако теперь ситуация изменилась: «Политическая родилась нация, духовно пробудился к своим государственным задачам целый народ» — ошибка авторов «Вех» в том, что они не учитывают времени, потребного для перемен, — не находя желаемых изменений тотчас, они осуждают русскую интеллигенцию, демонстрируя тот же порок, который и осуждают — нетерпение, склонность к радикальным решениям, максимализм.

Таким образом, язык национализма возвращался в широкое политическое пространство, переставая быть принадлежностью сторонников лишь правых взглядов. Вопросы о нации как политическом сообществе, о критериях включения и границах сообщества, о том, каким образом возможно совместить национальную повестку с имперской и каковы последствия для существующего имперского целого русского национализма возвращались, а во многом входили впервые в пространство общественной мысли — слишком поздно для того, чтобы

быть вполне усвоенными в своей сложности. Империя вступила в Мировую войну не только с грузом противоречий, в конце концов приведшим к ее крушению, — здесь она была отнюдь не исключением, ведь испытание Мировой войной не выдержали ее традиционные соперницы, Австро-Венгерская и Османская империи, пытавшиеся по-своему, весьма различными способами разрешить аналогичные проблемы, — русская общественная мысль оказалась во многом чуждой национальной проблематике, слабо представляя себе существующие линии напряжения в имперском пространстве, тот комплекс противоречий, который революционный кризис проявит во всей остроте — и который для многих станет неожиданностью.

* * *

Мировая война, революция 1917 г. и последующая советская национальная политика уже спустя несколько десятилетий отведут «большой русской нации» место в числе несбывшихся исторических проектов — *post factum* это склоняет расценивать его как изначально нереалистичный, обреченный среди поднимающихся национальных движений на неизбежное поражение, остаться памятником имперских проектов. Разумеется, говорить о шансах несбывшегося весьма проблематично — какими бы они ни были, все они — давно в прошлом.

И тем не менее для коррекции исторической оптики необходимо отметить, что в начале XX в. в Российской империи оказалась выстроена система массового образования, работающая на проект «большой русской нации», возникла система политического представительства, так или иначе распространяющаяся с уездного до общеимперского уровней, значительные слои населения

осмысливали и описывали себя в категориях «общерусской» идентичности, выступающей как современная, связанная с городским социальным пространством, язык русского национализма возвращался в пространство либеральной мысли, теряя свою приобретенную за 1880–1900-е гг. связь преимущественно с правым лагерем — т. е. становясь «общим языком», позволяющим вырабатывать политические соглашения за пределами партийных разделений, что, собственно, и является его функцией. Тем самым, если сейчас мы знаем, что эти тенденции оказались разрушенными последующим ходом событий, то это не должно быть тождественно признанию этих тенденций и идеологических проектов как не имеющих достаточных оснований. В конце концов Мировая война оказалась не только для русских участников и наблюдателей событием, изменившим реальность в самых, казалось бы, устойчивых чертах: то же самое можно сказать и обо всем европейском пространстве. Она стала «концом знакомого мира» и началом нового, когда все стало иным.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Общие работы о понятии нации и национализма:

1. *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. — М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.

2. *Брубейкер Р.* Этничность без групп / пер. с англ. И. Боровой. — М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012.

3. *Геллнер Э.* Нации и национализм. — М.: Прогресс, 1991.

4. *Гринфельд Л.* Национализм: Пять путей к современности / пер. с англ. Т. И. Грингольц, М. Р. Вирозуб. — М.: ПЕР СЭ, 2008.

5. *Миллер А. И.* Нация, или Могущество мифа. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2016.

6. Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др.; пер. с англ. и нем. Л. Е. Переяславцевой, М. С. Панина, М. Б. Гнедовского. — М.: Праксис, 2002.

7. Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи: В 2 т. Т. 2 / пер. с нем. К. Левинсон; сост. Ю. Зарецкий, К. Левинсон, И. Ширле; науч. ред. перевода Ю. Арнаутова. — М.: Новое литературное обозрение, 2014.

8. *Смит Э.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма / пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, Э. С. Загашвили и др. — М.: Праксис, 2004.

9. *Хобсбаум Э.* Нации и национализм после 1780 года. — СПб.: Алетейя, 1998.

Работы по истории русского национализма XIX века:

10. *Бранденбергер Д.* Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956). — СПб.: ДНК, 2009.

11. *Вишленкова Е. А.* Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

12. *Джераси Р. П.* Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России / авторизов. пер. с англ. В. Гончарова. — М.: Новое литературное обозрение, 2013.

13. *Долбилов М. Д.* Русский край, чужая вера: Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II. — М.: Новое литературное обозрение, 2010.

14. *Зорин А.* Кормя двухглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2004.

15. *Иванов А. А.* Вызов национализма: Лозунг «Россия для русских» в дореволюционной общественной мысли. — СПб.: Владимир Даль, 2016.

16. *Лескинен М. В.* Великоросс/великорус. Из истории конструирования этничности. Век XIX. — М.: Индрик, 2016.

17. *Майофис М.* Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815–1818 годов. — М.: Новое литературное обозрение, 2008.

18. *Мартин Т.* Империя «положительной деятельности»: Нации и национализм в СССР, 1923–1939. — М.: РОССПЭН, 2011.

19. *Миллер А. И.* Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. — М.: Новое литературное обозрение, 2006.

20. Новая имперская история Северной Евразии: В 2 ч. Ч. 2: Балансирование имперской ситуации: XVIII–XX вв. / И. Герасимов, М. Могильнер, С. Глебов, при участии А. Семенова; под ред. И. Герасимова. — М.: Издание „Ab Imperio“.

21. «Понятия о России»: К исторической семантике имперского периода: В 2 т. / под ред. А. И. Миллера и др. — М.: Новое литературное обозрение, 2012.

22. *Слёзкин Ю.* Эра Меркурия: Евреи в современном мире. — М.: Новое литературное обозрение, 2007.

23. *Тесля А. А.* «Последний из „отцов“»: Биография Ивана Аксакова. — СПб.: Владимир Даль, 2015.

24. *Уортман Р.* Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. — М.: ОГИ, 2004.

25. *Филиппов А. Ф.* Sociologia: наблюдения, опыты, перспективы: В 2 т. Т. I / под общ. ред. С. П. Баньковской. — СПб.: Владимир Даль, 2014.

26. *Цимбаев Н. И.* Славянофильство (из истории русской общественно-политической мысли XIX века). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Лекция 1. О понятии «национализм» и логике процесса нациестроительства	12
Лекция 2. Российская империя в первые десятилетия XIX в.: имперская ситуация, польский вопрос и ранний русский национализм	50
Лекция 3. «Официальная народность» и «большая русская нация»	82
Лекция 4. Два ответа на вызов времени: Чаадаев и славянофилы	113
Лекция 5. Соперник «большой русской нации»	143
Лекция 6. Эпоха реформ	193
Лекция 7. Style Russe	232
Лекция 8. Русификация, национальные движения и русский национализм к началу XX в.	286
Рекомендуемая литература	316

Научно-популярное издание

А. А. Тесля

**«ИСТИННО РУССКИЕ ЛЮДИ»
История русского национализма**

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Ведущий редактор *Д. Рындин*
Художественный редактор *И. Лицук*
Корректор *А. Александрова*
Верстка *М. Залиева*

Подписано в печать 18.02.2019.
Формат издания 60×90¹/₁₆. Усл. печ. л. 20,0.

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик».
109147, Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23.
www.ripol.ru

Отпечатано: Акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии».
109316, Москва, Волгоградский пр., д. 42, корп. 5.
Тел.: 8 (499) 322-38-30.
www.letmeprint.ru

12+

*Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.*